

# АНАТОЛИЙ КАЗАКОВ

СИБИРИАДА



Река Ангара –  
река Деметъ

Сибиряда

Анатолий Казаков

**Река Ангара – река Леметь**

«ВЕЧЕ»

2025

УДК 821.161.1-3  
ББК 84(2Рос=Рус)

**Казаков А. В.**

Река Ангара – река Леметь / А. В. Казаков — «ВЕЧЕ»,  
2025 — (Сибириада)

ISBN 978-5-4484-5210-9

Сборник произведений Анатолия Казакова «Река Ангара – река Леметь» – это голос глубинной России, звучащий из города Братска. Повесть «В Сибири кондовой, неизбывной, или Ушкуйник поневоле» рассказывает о судьбе бывшего кандалного, каких немало в этом суровом краю. С избытком выпадает на его долю испытаний и сомнений, но любовь выводит героя на светлую дорогу. Роман о первых строителях Братска «Наймушин, мама Настя, Серёжка, Братск» автор посвятил всем родителям нашей многонациональной страны, построившим сибирские города в 50–70-х годах. Дополняют книгу деревенские рассказы о сибиряках, в которых автор стремится бережно сохранить богатство и поэтичность русского народного языка в первородном деревенском звучании.

УДК 821.161.1-3  
ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-4484-5210-9

© Казаков А. В., 2025  
© ВЕЧЕ, 2025

## Содержание

Река Ангара – река Леметь	6
Отмотыжился	6
Сибиряк-бурундук[2] и немец	8
Река Ангара – река Леметь	13
Башечки	21
Чеплышка	28
Подарок для дочери	30
Корзина с черникой для тяти	35
Васька знает два языка	39
Баян замёрз	44
Чучунечка	50
Чубарый	54
Номерки	56
Данилино семя	63
Конец ознакомительного фрагмента.	65

**Анатолий Казаков**  
**Река Ангара – река Леметь**

**СИБИРИАДА**

Серия «Сибиряда»



© Казаков А.В., 2025

© ООО «Издательство «Вече», 2025

## Река Ангара – река Леметь

### Отмотыжился

– Жизнь! Она разная. Колесит человек по ней, мотыжит, мотыжит, а и всё, укорот вмиг образовался. Жизненный, а стало быть, людской укорот, то бишь мой конец. Да и почему вмиг-то? Нет, брат, не в миг, врешь. Младенчество не выкинешь, родителей, армия, жена, дети. Вот и отмотыжился, стало быть.

Лёжа на старой железной кровати, Дмитрий Иванович Кислухин вслух рассуждал о пролетевшей жизни. Скрутило его сразу, да не только спина была тому виной, куча разных болезней одолели, и вот лежит старик на железной кровати, рассуждает вслух:

– Надо бы на печи лежать, кости на кирпичках греть, а мне всё на маманиной кровати охота. Она, бывало, полежит маненько, и отудбит<sup>1</sup>. Снова работат. А я вот, видно, не в неё, слабее.

Когда развалился колхоз, то Дмитрий Иванович, не получавший два года зарплату, забрал старенький трактор «Беларусь». В конторе никто не возражал, все, кто что мог, то и тащили, пили горькую, ругали власти, и в итоге колхоз прекратил своё существование. Всю жизнь Дмитрий Иванович опаживал на тракторе территорию колхоза. Случилось однажды, погорели сильно, пожарный велел опаживать. Так продолжалось почти сорок лет. А когда колхоза не стало, Иванович всё одно опаживал. Шли тревожные новости о пожарах в соседних районах, старухи села боялись, скидывались на солярку, и старый тракторист на старом тракторе спасал своё село от пожаров.

Порою, чего греха таить, не хотелось уже опаживать. Но придут в его дом старые, как он сам, земляки и просят. Пуще всех всегда упиралась Пелагея Никандровна. Обычно баяла так:

– Ну, чё, Дёмушка, удумал? Как это нам без пахоты-то, сгорим. Государство пенсию даёт, и всё, боле ему ничё не надобно. А ежели погорим, куда нам? Опять же, ежели живы останемся. В городах у детей своя жизнь. Тогда внукам да правнукам молочка-то парного не отведавать. Мы ж живые люди. Христом Богом просим, Дёмушка!

Дмитрий Иванович и не думал отказывать старухам, но проскальзывало порой в давно седой голове, мол, надоело опаживать, было это непонятно отчего, даже сам Иванович не знал. Нападёт тоска, язвы её, куда деваться?

Покупалась солярка, и село было в очередной раз опажено от пожаров.

– Кто же ныне-то будет опаживать старухам? Я отмотыжился.

И загрузил Иванович. Вспомнилось, как покинули родительский кров три сына с дочкой. Ни секундошки не забывал о них, маялся мыслями, как там они выживают в городах. Глядел на жену Любу – и вовсе печалился. Мать детей его кручинилась боле его, материнская доля, не отхлыснёшься от неё, материя жизни в ней, в доле-то материнской.

У детей были давно внуки, у внуков правнуки пошли в ясли да в школу. Слава богу, навещали стариков, деревенской еды внуки отведали, это дело с ними на всю жизнь останется. Эх, и аппетит, бывало, разыграется у внуков, а ёдово самое простое – молочная лапша больно по вкусу им пришлась.

Мысли о внуках отлетели, снова думал, кто нынче старухам землю опажет. В дом быстрыми шагами зашла Пелагея Никандровна – и с порогу:

---

<sup>1</sup> Отудбить – выздороветь.

– Ведомо мне, Дёмушка, захворал ты, сердешный. Дочка из соседней деревни приехала, говорит, к ним пожар идёт, люди боятся – чего будет? У них давно не опахивали от пожаров, да вот у нас нынче не опахано. Среди мужиков ты один у нас, Дёмушка.

Ушла Пелагея, а через день узнали, что соседнее село сгорело, и пожар идёт к ним, всю округу затянуло дымом. Дмитрий Иванович и раньше к таблеткам относился плохо, а когда захворал, то Люба его давай ими лечить. Толку было от лечения мало. Потому он утайкой от жены таблетки выбрасывал.

Поднявшись с материнской кровати, Иванович откашлялся, с трудом натянул на себя штаны, выглянул в окно. Было дымно, и пахло гарью. Подошёл к столешнице, раскрыл дверки, достал бутылку самогона. Люба всплеснула руками:

– Ну вот, я лечу его, лечу, а он...

Иванович тихо сказал:

– Попробую, Любаша, врезать стаканчик, допинг нужен, понять должна.

Налив стакан самогону, Дмитрий Иванович не спеша осушил посудину. Откусил кусочек хлеба, дрожащей рукой положил хлеб на стол, затем встал и пошёл к трактору, ноги его тряслись от слабости.

Завёл трактор, сказал:

– Ну, Беларуська, выручай.

Дымка к тому времени обуяла всё село, видимости окрест было мало, если глядеть на дорогу, то четвёртую избу было уже не видать. Дмитрий Иванович ехал по селу, а старухи крестили его в дорогу, плакали.

Завидев крестивших его в дорогу старух, Иванович и сам чуть не заплакал, но дал себе укорот. Так и исчез его трактор в дымке...

Кто-то из старух залез в подпол, спасаясь от гари, кто-то молился на иконы, кто-то обливал себя холодной водою.

Тревожно мычали коровы, молчали собаки. Больше всего страшила беда тех старух, к кому приехали погостить внуки и правнуки.

Пожарные в этот раз успели вовремя, пожар был потушен. Дымка стала развеиваться. Пелагея Никандровна обошла те избы, где её землячки прятались в погребах, и вскоре всё село высыпало на улицу, радовались, обнимали пожарных. Приехал главный среди пожарных, обвёл уставшим взглядом жителей села и сказал:

– Мы-то, конечно, сделали своё дело, но, милые бабушки, вас ведь дед на тракторе спас! Он успел опахать ваше село, тем и спас вас.

Пелагея Никандровна спросила:

– А Дёмша наш где?

Главный пожарный посуровев лицом, сказал:

– Главное дело, дед ваш, опахав село, отъехал от опашки, тем самым спас не только село, но и трактор.

Пелагея первая встрепенулась:

– Дёмша свой трактор Беларуськой зовёт, всю жизнь на нём робит. Правда, захворал он у нас, сердешный.

Пожарный помолчал немного, глядя на Пелагею, тихо сказал:

– Крепитесь сельчане. Прямо в кабине трактора геройски умер ваш дед.

Люба упала на колени, завыла по-бабьи. Пелагея Никандровна бросилась к ней, обняла:

– Люба! Милая! Храни тебя Христос! Другие старухи тоже кинулись к Любе.

Пока пожарный сообщал тяжёлую новость, Дмитрий Иванович сидел в своём тракторе, словно живой. Опершись спиной о сделанное им же удобное сиденье. И казалось со стороны, что окрикни его – и он скажет своё привычное:

– А я ить, старухи, не отмотыжилса ишшо, спас вас...

## Сибиряк-бурундук<sup>2</sup> и немец

– А он-то меня сразу бы срезал, младой фашистик-то. Да тут и калякать, то бишь баять, нечего. Вмиг бы захлестнул автоматной очередью и фамилию бы не спросил. По нашим же робятам фашистёнок этот все патроны истратил, по нашей, так сказать, воистину многонациональной стране. А чё! Со всеми довелось повоевать: якуты, буряты, удмурты, узбеки, казахи, грузины, чеченцы, ежели всех вместе вспомнать, то много национальностей немца било. И как я его не пристрелил? Не пойму сроду.

Всю оставшуюся, отпущенную Богом жизнь думал так сибиряк-фронтовик Степан Васильевич Фёдоров...

«Ох, девка, не убежишь. А куда ты денешься? На острове живём. Так наши предки определили. А если к лодке подбежишь, дак я тебя на Ангаре поймаю, хошь вплавь сам кинусь, хошь на шитике, обниму, расцелую. Ну, а чего же поделаешь, любовь, ёна Матрёна! – мысленно говоил Степан, ища Клавдию. – В телятнике нет, коровы напоены, сыты. К Ангаре бегал – нет. Не иначе как в деревне али в поле».

А думы в молодую голову идут, словно рыба на нерест, удержу нет. На большом острове деревня наша, вокруг Ангара. Всё работа, работа, а о любви неколи побаять. Вы, правители наши, хитрые, знамо дело. Вам план по сдаче мяса, молока, и всего, что шевелится, подавай. Последнюю курицу забей и отдай, а сам голодный сиди.

А когда любить-то? Вот беда, бедные мы. Не только от того, что свадьбу не на что справлять. Бедные, потому как бед с избытком на нашу землю сыплется.

Ну начальство начальством, хрен с ними, дадим стране план по сдаче зерна, рожь выручит. А с Клавдией надо сходиться и жить. Люди поймут. На что свадьбу гулять? Штаны все в заплатах. Как там про Федула-то: «Федул, Федул, что губы надул? – Кафтан порвал. – Велика ли дыра-то? – Один ворот остался».

Вот и я вроде того Федула. Вру. Всё одно соберутся земляки. Принесут, у кого что есть, самогону, браги спворим на мёрзлой картохе, нагоним самогонишку едрёного. В одной деревне баяли, большой самогонный аппарат прям на ручье установили, и вся деревня им пользуется, охлаждение отменное. Ну чё сказать, молодцы.

Но всё одно с ума можно спятить. Зверь, рыба, хлеб, скотина – всё, всё сами, и одёжу сами. На полном своём обеспечении. Но государству вынь да положь. В городах без нашей кормёжки попередохли бы все. Не в обиде я. Вру. В обиде. От государства тоже должна денга быть. Да, видно, не получается всем дать, но в городе почему-то лучше живут и уж точно меньше работают...

Клавдию Степан отыскал уж затемно, работа на деревне круглый год, без выходных, закрутился. Знал, что к ночи Клавдия дома будет, где ей, сердешной, быть. В четыре утра снова в телятник, надо и ей поспать хоть часа четыре... Ух, девонька у меня! Телятник высоко на берегу, а она кажинный день телятам ненасытным воду таскает на себе, а сколь вёдер? Со счёту собьёшься. Мошкара падлючая, спасу от неё нету, один дёготь выручает. А телята – они чё, пьют и пьют. Вот и темнеет в глазах от надсады у Клавы моей ненаглядной, а я тут ещё со своей любовью привязался, ирод окаянный, чё говорить.

И вот сидят два молодых человека на лавочке, налюбоваться друг на дружку не могут.

– Клава! Милая Клава! Бедные мы, конечно. Но страна-то, вишь, поднимается. Ежели мы с тобой будем ждать, коли подыметя, состариться можно.

Степан улыбнулся, обнял крепче невесту и поцеловал.

---

<sup>2</sup> Бурундуками в Братске зовут тех, кто переехал в город из деревень, затопленных для строительства Братской ГЭС.

Свадьбу гуляли всей деревней, как и было принято в старину. На картошке, квашеной капусте, рыбе, грибах, браге и самогонке свадьбу спроворили, самогон не больше двадцати градусов был, на мёрзлой картохе, не на сахаре, сахар-то – роскошь. Да поросёнка одного забили в честь этого дела. Теперь председателю думай, как отчитаться за мясо, ничего, придумает, на то он и председатель.

А страна действительно поднималась по всем направлениям. И вот война! Клавдия через два месяца должна родить ребёнка, а ей, сердешной, предстояло провожать мужа на войну окаянную. Бабы бегут по краешку берега Ангары, рёв на всю округу страшный стоит. Бежит и брюхатая Клавдия, детишки вокруг плачут, ветхие старухи кричат на баб: «Пошто вы детей-то пугаете? Эх, растрезвонили. У, окаянные».

...Мужики отплывали всё дальше, все хмельные, но суровые. Сибиряки! Сибиряки! Сколько же вас, родимых, полегло потом в страшной мясорубке!

Степан воевал и думал: кто же у него родился на божий свет? Писем пока не было, сплошные переброски. И только, когда ранило, в госпитале узнал, что родился у него сын и что назвала Клавдия его Алёшенькой, в честь отца мужа. В госпитале холодина, хоть и топили. Те, кто из южных краёв, шибко мёрзлы, Степану было всё же привычнее.

Когда под самой Первопрестольной одолели фашистов, все без исключения с облегчением вздохнули, вздохнул и Степан. В окопе в часы затишья думал: «То, что выживу, в это поверить сложно. Вон уж сколько новеньких прислали, а первые мои боевые сотоварищи лежат все на земле нашей. После бомбёжки, обстрелов окаянных многих присыплет землицей, и хоронить не надо. Меня ведь тоже присыпало, и ежели бы случайно не отрыли, червей бы точно кормил. Ну, теперича хошь знаю, что Алёшка растёт. Подрастёт когда, будет мамане ведра помогать таскать в телятник. А ежели возвернусь, то Клавдию свою буду любить сильнее прежнего. Любовь, она не только, чтобы с бабой спать. Тут душа человеческая наружу шибко видна, да так видна, что без следователей всё понятно, хотя яснее ясного, что ничего непонятно, и сколь ни живи на белом свете, всё одно удивительно всё это дело».

Два серьёзных ранения пережил за войну сибиряк, оба раза лежал в холодных госпиталях. Когда становилось легче, помогал отапливать госпиталь, врачи ругали, де, слаб ещё. Но не могла глядеть сибирская душа Степанова на то, как порой неумело топили печку. Раны от движения начинали сочиться кровью, и врачи строго приказывали лежать. Тогда Степан утайкой подходил к санитарке и говорил тихо-тихо:

– Верочка! Ну куда ты сырых-то натолкала, ну-ка, милая, вытаскивай. Вон ту полешку бери, вот эту, а уж теперь можно сыроватую положить, теперь, кажись, эта более-менее подсушенная, да лучины поболее. Запоминай, сестрёнка, как надобно, я на войну уйду, а ты меня, может, добрым словом вспомнешь.

Печка начинала хорошо топиться, в госпитале становилось теплее, и многие раненые солдаты знали, что без Степановых советов тут не обошлось. Радовались и санитарки.

Казалась подчас невыносимой человеческая, солдатская надсада, и вот, пройдя по отчей земле, поглядев на горнило войны до блевотины, воевал теперь Степан в самом Берлине. Говорили ему, конечно, и отцы-командиры, и сотоварищи, что Гитлер мальчишек в бой посылает, думал, может, преувеличивают. А вот атаковали один дом, вбежал он в помещение и увидел действительно молодого фашистика. Автомат у него валялся рядом. Молодой немец в новеньком, полном боевом обмундировании глядел на Степана. Форма на нём была великовата. В глазах страх. Оглядевшись вокруг, русский солдат подошёл к немцу:

– Чё, немчур! Не успели подогнать-то одёжу под тебя, неколи было. Понятно. Все патроны на робыт наших потратил. Гитлер капут! Язви тебя в душу! Придушу, как лягушонка, патроны на тебя тратить.

Ожесточённые бои в Берлине шли к завершению, все понимали, что ещё чуть-чуть – и войне конец. Степан хотел пристрелить гадёныша, но что-то не давало. Нет, ни за что в мире не

объяснил бы Васильевич: почему не поднималась у него рука на этого, в сущности, мальчонку. Отведя свой автомат в сторону, сказал:

– Вот, фашистёнок, скоро Гитлер капут, стало быть. Молодой немец закивал головой и быстро заговорил: – Я-я, Гитлер капут. Гитлер капут.

Степан, видя, как немчурёнок не сводит своих испуганных глаз с дула автомата, сказал:

– Запомни меня, фашист. Хоть ты и молод шибко, а всё одно фашистёнок. Я есть Сибиряк. С реки Ангары. Зовут меня – Степан Васильевич Фёдоров. Убивать я тебя не стану. Война вот-вот закончится, может, после вспомнешь.

Степан задумался.

– Да нет, ты вспомнешь. Милую тебя, гада. Милую. Вставай. Шнеля, шнеля.

Не сразу вернулся с войны Степан Васильевич Фёдоров в свою деревню, задержали на год.

И вот весна, Ангара уже начала потихоньку трогаться, красивая, величавая картина. А русский солдат-сибиряк стоит на берегу и думает: если побегу, может, и проскочу, а ежели провалюсь, погибну. Вот обидно-то будет. И вот бежит солдат по тронувшейся Ангаре и один раз чуть было не провалился, но добежал.

Тятю, маму, Клаву с сыном, всех земляков родненьких хотел обнять, удержу не было, вот и побёг. Всем деревенским вмиг стало известно об этом. Кто материл солдата, кто головой качал, руками махали, дескать, солдат, чего поделаешь. Клавдия не ругала мужа за его переход, долго плакала, а Степан не мог найти слова утешения, виноват, едрёна корень, виноват, как есть виноват.

Обнял Клавдию свою любезную, да, кажись, и не отрывал бы от себя никогда: так нужна ты мне нынче, Клава. А тут и Алёшка набросился на тятю:

– Тятечка, миленький! Ух, ждали! Ух, не спали! Ух ты, какой солдат! Ух, мама, давай тятю щами кормить, чаем на травах поить.

Встречали фронтовика земляки скудным столом – одно слово, всё для фронта, всё для победы. Но рыба солёная была, грибы, капуста квашеная, картошка да припасённый Клавдией самогон.

В деревне их из пятидесяти четырёх мужиков вернулись только восемь, вскорости один фронтовик от ранений помер.

Впрягся, как лошадь, Степан в колхозную жизнь, три дочки и ещё одного сына родили они с Клавдией. Выкраивал он моменты и для рыбалки, хотелось обязательно всех, у кого мужиков нет, рыбой угостить. Так было принято ещё у прадедов, и Степан не раз говорил, что это Господний обычай.

Годы шли али бежали, кто их там разберёт. И вот пришли на Ангару строители Братской ГЭС. Плотина оказалась самой огромной на планете Земля. Сколько песен про неё композиторы сложили, со всей страны люди ехали на Всесоюзную стройку. Но под затопление попало много сёл и деревень Сибири. Об этом, конечно, не писали, было непринято. Но когда шло затопление, не только не сгоревшие избы с банями и сараями плыли по Ангаре, рассказывали люди, что плыли и гробы, в которых лежали умершие сибиряки. Не ведали их дети, какая страшная судьбина после смертушки их родителям выпадет. Степан плакал навзрыд от всего происходящего на его глазах. Потом обо всём этом очень выстраданно напишет писатель Валентин Григорьевич Распутин...

Хоть дома их деревенские пожгли, довольно значительная часть острова после затопления осталась. Пройдёт много лет, и деревенские потомки поставят памятный крест на родном острове, а священник прочитает молитвы.

Жизнь бурлила, словно Падунские пороги, да и они, такие мощные, после затопления перестали казаться таковыми. Все, кто попал под затопление, переехали жить в молодой город Братск. И вот уже работают на полную мощь Братская ГЭС, работает самый мощный в стране

Алюминиевый завод, самый мощный в стране целлюлозно-бумажный комбинат, наимогущественнейший железобетонный завод, огромный завод отопительного оборудования, прославленный пивзавод и многое другое. Братск являлся донором для экономики всей страны.

Всех, кто переехал из подтопленных деревень, называли «бурундуками», то бишь местными. Многие перевозили свои дома из-под затопления. Отличить их было просто, идёшь по посёлку, видишь, стоит дом, а брёвнышки пронумерованы краской. Так перевёз свой дом и фронтовик Степан Васильевич Фёдоров. Жил, работал, дети давно повзросли, внуки уж большими стали, правнучка появилась на белый свет. Быстро проходит человеческая жизнь. Вот и пенсию стали с женою получать.

Жил старый солдат с Клавдией и не ведал, что ищет его давно тот самый фашистёнок. Как удалось Августу Краузе отыскать Степана – неведомо. Только известно наверняка, что в перевезённом уже давно из-под затопления дому пили русский солдат и немец неделю.

Степан не знал немецкого, но, на его радость, Август немного владел русским, и этого было достаточно. Каждый день топила Клавдия баню, старики парились, но после трёх дней силы их поистожились, стали просто обмываться. Выйдут из бани два старика, а Клавдия им по кружечке разливного братского пива наливает. Немец бает: «Гут», а сильно постаревший Степан Васильевич заводит такую речь:

– Как я тебя, фашистёнок, тоды не пристрелил, не знаю. Гляжу, уж больно молоденький. Вот, думаю, как Гитлера-то вашего прижало, мальцов на бойню посылат. А война, она всё одно кончилась. Слава те, Господи!

Август рассказывал как умел:

– Я фас, Степан, долгё искать. У нас, в Германии, можно найти людей со всего мира. Ты спас меня, Фёдоров. Спасибо за жизнь! У меня семья, я счастливый человек.

После этих слов немец начинал плакать, затем под хмельком снова начинал говорить одни и те же слова. Видя немца уже пожилым, Степану почему-то казалось, что перед ним сидит по-прежнему тот же фашистёнок, из тех уже таких далёких годов, только краску на голове сменил. Васильевич обнимал немца и говорил:

– Ну, чё поделашь. Такая судьба нам выпала, стало быть. Не думал, не гадал, что вот так свидеться-то нам, едрёна корень, придётся. Ты, немчура, не плачь. Ты кто тогда был? Подросток, считай. А у нас, в России, не принято младое племя забижать. Пойми ты! Дурья твоя голова. Хотя, говоришь, семья у тебя в Германии, счастливый человек ты! Ну, тоды не дурак ты, а напротив, умный. Семью создать – энто, паря, великий труд по жизни. Сколь ни живи человек, ничё неясно, факт.

Немцу по нраву пришлись братское пиво, водка и Степанов самогон на кедровых орешках. Старый сибиряк с Клавдией отведали немецких консервов и какую-то долго хранящуюся колбасу.

Через неделю немец уехал, когда прощались, два старика плакали так, что Клавдии пришлось успокаивать их изо всей силы, а Степан Фёдоров пропил и вторую неделю и закончил пить, потому как всё питейное закончилось и надо было снова ставить брагу.

Сын привёз целую грузовую машину чурок, и надо было колоть дрова. Степан пробовал. Расколет одну, вторую, стоит за спину держится, весь потом обливается. Клавдия говорит:

– Иди, Стёпушка, в дом, телевизор погляди. Дети на выходные приедут, дрова переколют.

Вспомнила в эту минуту Клавдия, как недавно показывали по телевизору одну женщину, она рассказывала, что когда к ним в посёлок привезли военнопленных немцев, то наши русские женщины подкармливали их. Степан, глядя на телевизор, тогда с волнением произнёс:

– Вот едрить твою.

Иногда он, сильно волнуясь, говорил:

– Жизнь прожил и дивлюсь нашему народу. Сколькo сволочей видел, но большинство-то хороших людей. Так вот, ежели где появляется хороший человек-начальник, не на словах, а на

деле за народ, такого обязательно сожрёт падлючее меньшинство, и поставят такого, которого им надо. И все повозмущаются, и на том дело закончится. А мне обидно, что мы такие. Вроде бы заступ прими, народ, за праведного человека! Нет, поговорят, хороший, мол, был человек, и всё. Вот с этим я никогда не соглашусь, что молчать надо, да сколь из-за этого страдал сам. Жаль мне хороших людей, а плохим-то на хороших наплевать, лишь бы им всласть дали. Одно радуется, что помнят люди добрым словом хороших начальников. Иван Иванович Наймушин, яркий пример тому, жаль до смерти, что на вертолётё разбился. Хошь и печалюсь я шибко за затопленные деревни, рана на всю жизнь, факт, но Иван был хорошим мужиком, чё зря говорить. Лично довелось поработать. Глыба, не человек, ведь возглавлял самый мощный в стране Братскгэсстрой. Понимал всех, и нас, бурундуков, тоже. Ты, Клава, знаешь эту мою оказию. Одному стукачу морду набил, так чуть не посадили, и правильно, что набил, мужики потом спасибо сказали, таких не перевоспитаешь, ну, может, один только на миллион станет по совести жить. Такое тоже допускаю, жизнь сложна.

Клавдия видела, как после её слов Степан оставил затею с дровами. Попросил, войдя в дом:

– Ты, Клава, тройным одеколоном спину мне натри, хорошая штука. Легше будет, ежели отдубит спинушка, веселее жить.

Потом, повернувшись лицом к жене, добавил:

– Вот бережёшь ты энтот тройной одеколон, запас сделала немалый, а я ведь не притрагиваюсь к нему. Значит, не такой уж я пропащий.

Подмигнув жене, Степан, поднявшись на крыльцо, отворил дверь в дом. Клавдия с любовью глядела на мужа и улыбалась...

## Река Ангара – река Леметь

Тётя Дуня косит траву, не позволяет ей вырасти даже до двадцати сантиметров. Клевер очень любят коровы, если Евдокия не выкосит этот участок, то его скосит другой деревенский житель.

Однажды тётя Дуня даже поругалась с двоюродной сестрой именно из-за сена. Всегда была спокойной, но тут вывели. Она никогда не косила чужое, наоборот, лучше уступит земляку, такой породы человек. Все искали покосы поближе, она же уходила подальше, чтобы никому не мешать. А тут двоюродная сестра словно с цепи сорвалась, удержу у неё сроду не было, крепкая ругань была, на всю округу, без мата, но крепкая, с применением многих диалектных слов, коими так богата наша Отчизна.

Я уже всего не упомяну, мне было лет десять, а то и меньше, но точно помню, что о сене шёл спор. Про двоюродную тёткину сестру знал, что она плохо разговаривает, по родове перedalось. Знал и её отца, дядю Васю, он был родным братом моей бабушки Татьяны Ивановны, знал, что сын дяди Васи сгорел в танке в Великую Отечественную. Дядя Вася сам воевал, был очень простым, тихим человеком, прошедший через самое страшное за всю историю человечества горнило войны. Глядя на него, ни в жизнь не поверишь, что он был отважным солдатом, имеющим боевые награды: всегда с улыбкой на лице и потрясающей человеческой скромностью, такой неприметной, но она согревала всех земляков. Это идёт изнутри, это во все века на Руси необъяснимо. Встретится дяде Вася на пути женщина беременная (много было раньше на деревне беременных), – так обязательно скажет он ей простые слова:

– Ну вот, скоро в нашей деревне новый житель появится, и тебе, мама, будет веселее жить на белом свете.

Голос у него был с хрипотцой, но какой-то такой родной для всех окружающих. Ответит землячка:

– Так, дядя Вася, всё так. К вам будет бегать, вы только научите корзинки плести.

– Корзинки – обучу, жаль, горшки глиняны не обучился делать. У нас в соседних деревнях делали ране горшки, мы у них брали, а наша деревня лаптями славилась, вот те и торговля. Ране у нас камень белый добывали, тяжёла работа, ну, будет об этом. Ты, главное дело, Сергею своему ночью выспаться дай, он топерь за вас двоих роботат, да вряд ли уснёт рано, знамо дело, вон ты кака румяна уродилась.

Хорош был деревенский говор дяди Васи. Слово «теперь» на деревне старики говорили «топерь», «Сергею – Сергею», «своему – своему», меня все называли Натолием, заменяя букву «А» на «Н», и мне всегда казалось, что я знаю два языка.

Смотришь, после разговора с дядей Васей засмеялась женщина и пошла с улыбкой на лице, словно освещая всё вокруг, словно трава вокруг ещё зеленее стала, птички живее стали петь, облака на небе белее стали. Беременная женщина красива и божественна – так оно всегда и было, нечего красоту эту замалчивать...

Или, к примеру, самую ворчливую старуху на деревне увидит дед Василий, которая всех осуждала, и вот чудо – злая старуха вмиг преображалась, улыбалась, а отходя от дяди Васи по делам, говорила:

– Вот это человек! Боле ничё не скажешь.

Маяла его, сердешного, одышка, ещё с войны привязалась, сторожил в колхозе, плёл большие двуручные крепкие корзины, их охотно закупали колхозы. Мне всегда казалось, что каждое дяди-Васино слово отдаёт такой загадочной древностью, которую мне никогда не понять. Старики говорили, что через нашу деревню проходило войско Ивана Грозного. И вот, глядели мы, малыцы, на Леметский храм 1720 года постройки, где ступали ноженьки святого

Серафима Саровского, на старые могилы, и, ещё не понимая ничего, были ко всему этому большому сопричастны.

Эта самая древность была обозначена в языке, скажет, бывало, дед Василий: «оторый бай нет», разве можно понять, а меж тем я, даже маленький, понимал, что такими словами говоривший человек соглашается с услышанным или увиденным.

Дядя Вася после войны ещё долго жил в старой избе, жена померла рано, один поднимал дочерей и только в семьдесят четвёртом году нанял шабашников. Дочери варили работникам суп, пекли пироги, много ставили квасу, чтобы напоить плотников таким нужным в жару народным напитком. Дядя Вася всё ходил вокруг строящегося дома, шутил и просто, по-доброму разговаривал с работными людьми, те полюбили деда-фронтовика, по их улыбкам и разговору, это было видно мне, конопатому мальчишке. Довольно быстро поставили новый дом, переехали из старой избы в новую – напротив, через дорогу. Перед тем как покинуть старую избу, дядя Вася помолился, думаю, в этой молитве вспомнил седой старик и свою любимую жену и сына, сгоревшего в танке, вышел из старой, покосившейся избы в слезах, я помню эти слёзы, тогда мне, мальчишке, стало так жалко дядю Васю. На прощание он подарил каждому строителю дома по корзине.

Новый дом был довольно большой по тем временам. И вот сидит фронтовик в кирзовых сапогах на большой лавочке, сапоги меж тем всегда начищены до блеска, стены дома радуют глаз, брёвнышки один к одному сложены, белые-белые, рядом большущая русская печь, ухваты, на полу много чугунок. В просторной избе сидит дед, улыбается, на нём новая рубаха и новые штаны, а завидев меня, робко переступившего порог, тут же весело здоровается и угощает яблочками. Я чуть погодя несусь к бабушке порадовать её подарком от деда Васи, и это ничего, что из некоторых яблочек «вылазят» червячки, главное, что бабушка «напекёт» пирогов с яблоками.

Три дочери дяди Васи так замуж и не вышли, но была внучка, которую все называли Панка, почту разносила по деревням, и он в душе был рад этому очень. Мужиков, как известно, всегда острая нехватка, а после страшной войны и подавно. Так вот его дочь Настя и нагуляла дитя, работала трактористкой, отчаянная такая. Поначалу на деревне её осуждали, а потом и полюбили Настино дитя. Вот вам и ответ тем, кто боится рожать. Панка вышла замуж, родились у неё двое ребятишек, и семья дяди-Васино дало всходы, продолжилось, тем самым укрепляя нашу Россию.

Пришёл как-то к бабушке в гости дядя Вася, всегда приходил, когда мы с мамой приезжали, обычно в новой телогрейке, он её только на праздники надевал. Выпьют водки, закусят маслятками с картошкой из русской печи. С мамочкой её, как дочку дяди Васи, тоже Настей звали, мы обегали с утра окрестный лес, масляток после дождя было много, но попадались и белые грибы, подберёзовики с подосиновиками, конечно. Утром в лесу холодно было, а потом так ужарели, что даже пироги есть не стали, и насилу допёрли полные грибов корзины. Перебрали грибы, и вот мама надумала в чугуне потушить маслятки с картошкой, добавила лука с грядки, вкусно получилось. Бабушка так никогда не готовила и, глянув на дочь, улыбнувшись, наворачивая на букву «ц», сказала: «Цудацка ты, Настя! Эх, что надумала!»

Запомнился дяди-Васин короткий рассказ о войне: «Бомбили сильно немцы, а мы реку в городе форсировали, знамо дело, немецкие снаряды в реку попадали, рыбы всплыло – уйма, да кака крупна, те которы рыбаки ринулись вытаскивать рыбку-то, их, сердешных, снарядами убило, рыбы этой всплывшей было действительно много, а солдат наших, погибших на переправе, столь загибло от бомбёжек, что, наверно, во всей этой реке рыбы столь не наберёшь, если даже всю реку вычерпать, вот и порыбачили. А мы тоды в мечту ударились, де, опосля боя рыбки варёной поедим. Не вышло отведать рыбицы, наступали, неколи было. Эх, сэсто (сколько) робят погибло. Топерь мир, ешь рыбы, сколь нутру надобно. У нас в речке Лемети махонька рыбка, у вас, в Ангаре, много разной рыбы: таймень, омуль, хариус, – племяш Сер-

гей сказывал, солёну привозил, скусная, чего говорить, богата Сибирь, а я и таких рыб николи не слыхивал, сказывали на фронте про сибиряков, хорошие воины, я воевал с ими, довелось, добрые, сильные, метко стреляют эти робяты».

Дядя Вася тут задумался немного, прокашлялся по-стариковски, зачерпнул из чугунка деревянной ложкой вкусного ёдова, мама тут же налила дяде и себе по рюмке водки и весело сказала:

– Давай, дядь Вась, ахнем!

Дядя Вася, улыбнувшись, сказал:

– Молодец, Настя! Нежадная ты! Всю зарплату сибирскую на земляков изведёшь. Старики тебя всё вспоминают, любили тебя, плакали которы, коли уехала в Братск.

Мама, улыбнувшись, ответствовала:

– А чё, дядь Вась, экономить, работаем, строим город, весело у нас.

Выпили, снова закусили, дед Василий продолжил речь:

– О чём, бишь, я, а, про рыбу, мы не на Ангаре, у нас селёдку солёну привезут, мы и рады, кто в воде опосля отмачивает, я так режу по кусочкам, да под водку вроде идёт ничаво, главное, с картошечкой горячей дело идёт. Я редко ныне выпиваю, как отведаю вино, так после отдышка окаянная душит, мужики наши деревенские обижаются, коли отказываюсь с ими выпить, не понимают, что хвораю, не докажешь. Ране так не пили всё же, а коли было шибко пить, работа. А всё одно – велика у нас страна, ладно, у нас речка, лес, всё родится, а вот проедешь чуть – и нет леса, речки, там степи, бывало, и земли неплодородны. Чё тоды делать? А и там наш народ ставил деревни, промыслом выживали, горшки делали. Вот ведь оказия жизненна, так оне горшки, посуду делали... Плохо, когда земля неплодородна. Всяко было, да у реки жить всё же полегше буит. Рыбки наловишь, в баньку воды натаскашь, трава под сенокос добрая, весною дров нанесёт опять же речкой.

В нашей деревне, водка ли это, коньяк, вино – всё называли почему-то вином, а большие бутылки с вином – «бомбой». Мне вспомнилось, как после армии я приехал к бабушке с тётей, работал я тогда сварщиком на отопительном заводе, зарплата четыреста рублей, зашёл в сельский магазин, гляжу, очередь, все покупали селёдку. Если покупаешь водку, то в нагрузку давали этой очень солёной селёдки, а без селёдки водку не продавали. Взял я тогда четыре бутылки «Пшеничной», надо было угостить деревенских друзей, и вдруг вижу, накладывают селёдку в нагрузку, я заплатил за селёдку, но брать не стал, в очереди люди ахнули, какой, мол, богатый из Братска к Данилиным приехал. Новость эта долетела быстрее, чем я вернулся в дом. Тётя Дуня тогда говорила мне:

– Цудак-целовек! Мы бы отмоцили в водицке и поели бы селёдоцки, кошкам бы дали. Пошто не взял? Неприспособленные к жизни вы, городские.

Спасибо тебе, память, благодаря дорогому дяде Васе вспомнил про покупку селёдки. Уважаемый на деревне фронтовик всегда интересовался, как строится молодой Братск, мама обычно говорила: «Вкальваем, дядя Вася».

В деревенском доме всегда убрано, чинно разговаривают любимые люди, каждый уголок дома дорог, всё в нём родное, под лавкой корзины с хлебом, по двадцать булок за раз покупали, хлеб стоил копейки. Так делали все, кормили скотину.

...В обед пригнали к речке коров, называлось это место «стойло», бабушка сходила, взяв с собою хлеб, подоила корову. Теперь же сидела на лавке, слушала разговор дяди Васи с мамой, была до смерти рада такому гостю, а когда ей наливали рюмку, громко говорила: «Не, не, мне только хлебок, боле не буду, мне вецером скотину убрать надо, а то повалюсь пьяная, цаво делать буите, цудаки». В корзине под лавкой лежат и яйца, бабушка пойдёт в воскресенье продавать их на базар, пять километров пешком, до районного посёлка, бывало, но и подвозили её, много было шофёров в округе, слава богу, подросли мальчишки военного и послевоенного времени. Тех ребятишек, у кого отцы погибли на войне, старики наши называли «сердешники»...

Снова заработала память, рядом течёт речка Леметь, она небольшая, но ребятишки находят места и поглубже и с огромной радостью, светящейся в глазах, купаются. Купаюсь с ними и я. Тут же большими корзинками ловкие деревенские парни ловят мелкую рыбу, и когда рыбы стало на жарёху, смотришь, уж побегли ребята, те, которые поменьше, за яйцами, хлебом, луком, большой сковородой. И вот уже молодой шофёр Михаил, который недавно женился, жарит полную сковороду этой мелкой рыбы, добавляет после лук и яйца.

Мы все сидим у костра, дуем в ложки, обжигаем губы, хвалим чудную еду. Дел у ребятни каждый день много: собираем в лесу землянику, она мелкая, никак не удаётся её набрать, потому как сразу съедаем, а принести бы её домой – да с молочком... Но где столько терпения взять? Сели на полянку, поделили ягодку да съели. После набираем колхозного гороха на поле, бабушки хоть и поругивают, мол, колхозный горох-то, но как-то не шибко злясь. Чуть отдохнув, бежим в колхозный сад, там набираем яблоч, приносим полные рубахи, бабушки на этот раз хвалят, потому как яблони садили родители деревенских детей, то бишь колхозники, и рвать их разрешалось. Делаем свистульки, купаемся в пруду и всему рады...

Много детей тогда было на деревне, рожали женщины, не боялись, а чего с коровой бояться? Достоинно и славно работали колхозы, местные газеты трубили о достижениях, и они ведь на самом деле были. Едут друг за дружкой комбайны на уборку зерна, как же глядеть на такую картину гоже! В душе возникает надёжность, что с голода не помрём, когда так героически родители трудятся на земле. Да, трудились героически, я видел это своими, тогда ещё хорошо видящими, глазами.

...Везёт нас с другом Вовкой на бортовой машине его отец – дядя Володя Молодцов. Полный кузов зерна, так приятно смотреть на зерно, Божье оно, и вот чудо, прямо возле дороги стеклянные банки с водой стоят!.. Попили холодненькой и дальше поехали.

О голоде часто вспоминали бабушки, которые в наш дом приходили по вечерам, пили чай, говорили о жизни. Люди деревенские были потрясающе сильными, такое не спрячешь. Помню, сын нашего соседа дяди Серёжи, Славка, залез на столб до самых проводов и вдруг упал, полежал маленько, поднялся и побежал дальше играть с ребятишками, я напугался, а бабушка моя сказала:

– Эт вы, городские, слабые, а наши железные, ницаво с ним не буит.

Помню, заболел сильно живот у Саши, другого сына дяди-Володиного, который нас на машине с Вовкой катал, маму мою позвали, городская, мол, выручай, мама дала Саше угольных таблеток, и вот чудо, Сашка вскоре отудобел и побежал купаться на наш любимый пруд. А мы как раз купались, и только выскочили из пруда. Саша был нас постарше, он аккуратно снял свои чёрные брюки, так же аккуратно сложил и положил на траву, а затем нырнул в пруд и долго не выныривал. Под водой он проплыл весь пруд, и, когда вынырнул, мы что-то закричали радостное, а я всё глядел на Сашины штаны, у меня так по стрелочкам укладывать брюки не получалось...

Едва подсохнет трава, как тётя Дуня тут же сильно стянет верёвками огромную и тяжёлую вязанку порою ещё сыроватого сена, и моя мамочка Анастасия Андреевна, приехавшая из далёкого сибирского города Братска в отпуск отдохнуть, тащит эту вязанку на большую гору, где за прирезками и усадями стоит её величество – и впрямь кондовая деревня. Евдокия провожает маму усталым взглядом. Дуня божественно красива, но не замужем – всё не стихнут кровавые отголоски Великой Отечественной войны: девушек много, мальчишек мало. И когда они, эти девчонки, вырастали, наступала пора выходить замуж. А где взять молодых мужиков? Побило их, сердешных, на окаянной войне. Таких, как моя тётя Дуня, не вышедших замуж, было по нашей России великое множество. А ведь она могла быть счастлива, как другие, которые вышли замуж, – я теперь понимаю частую тоску в её глазах. Если бы жила тётя Дуня в городе, может, и встретила счастье своё, но в городе Братске она пробыла недолго, повозилась со мною, маленьким, бабушка её позвала, и уехала, так и осталась незамужней.

... Если трава в тяжелой вязанке окажется сырой, бабушка днём её обязательно высушит. Дуня, весь день отработавшая на жаре в колхозе, похлебав вечером супа, снова идёт косить траву, но уже на свою корову. Так жила наша деревенско-сельская Отчизна. А бабушка Татьяна Ивановна терпеливо ждёт дочь, уже многое в доме ею переделано: корове Красотке, телёнку, овцам поило дала, куры давно на нашесте, подоила Красотку, процедила молоко, спустила горшки с молоком в погреб – и готовы творог, сливочное масло. Я выпил кружку парного молока и люблюсь на кошек, которые терпеливо ждали молочка, сидя рядом с коровой и бабушкой и слушая, наострив ушки, такие знакомые звуки дойки. Теперь же они громко лакали молоко, а бабушка немного насмешливо, но по-доброму улыбаясь, говорила:

– Не цаво не хлебают, окромя молоцка. Приуцыли, цаво поделашь. Эк! Какие! А без их нельзя, мыши замуцают. Назола.

На улице становится темно, и вот наконец возвращаются тётя Евдокия с приехавшим погостить из Братска дядей Геней, мужем её сестры Марии. Летом приходилось задействовать для работы и городских родственников, у кого были полные семьи, тем было легче. Так что тётя делала всё правильно, привлекая к труду помощников. Довольная возвращением дочери, бабушка, бывало, в сердцах скажет:

– Ой! Дуняшк! Назола мне с тобой! Ну, куды нам столько скотины, мы вдвоём живём, брат твой с сёстрами уже в Братске останутся до конца жизни, привыкли оне там. Ты бы побереглась, доцка!

И такие вот простые моменты жизни помнятся. Я, словно замороженный, сижу и гляжу, как уставшие тётя с дядей хлебают остывший давно суп из одной большой железной чашки деревянными ложками и не брезгают. Как писали писатели-деревенщики, «хлебая из одной чаши, тем самым сродники доверяли друг другу».

Тогда я этого не знал, а просто любовался дядей Геней, его огромным аппетитом, помню, как сметал он со стола всё съестное, это нехитрое, но страсть какое милое душе ёдово.

С устатку бабушка, конечно, наливает дяде Гене винца, тот рад, но не рада тётя Маша, ругает бабушку, а та в ответ:

– Да полно тебе, доцка, цай в отпуску вы все, можно выпить, все роботаєте, не пьяницы же, а то подумат Генка, что жалко мне, а цаво мне жалеть, роботали оне, с устатку можно, цай. Ну Машка! Камедная ты! Цаво ругашься? Будит! Будит тебе! Полно!

Потом бабушка, опять же по-доброму, ухмыльнётся, словно удивляясь чему-то, и скажет:

– Цудаки! Боле цо сказать, не знаю.

А днём, только придёт тётя Дуня на обед, тут же бригадир, агроном или другой начальник за ней бегут, на работу зовут, бабушка им вослед:

– Ну дайте ей хоть поесть-то, замаяли совсем, ей и дыхнуть неколи.

Евдокия, не доев тюрю, бежит на работу, именно бежит... Если молодые будут читать, объяснить надо, что такое тюря. У нас на деревне крошили в большую тарелку белый хлеб или батон, наливали молока, вот и тюря готова. Думаю, так вся наша деревенская Россия делала, да и в городе так ели.

Татьяна Ивановна качает головой, глядя на убегающую на колхозную работу дочь:

– Ну цо поделашь, роботат и роботат, ницаво не сделашь.

Каждый день к нам приходила бабушкина сестра Кока, её так все называли, жила она одна-одинёшенька, часто болела, много тогда было одиноких. Вот вроде стоят два дома, рядом напротив дом Молодцовых, так там огромная семья, а рядом живёт та самая одинокая Кока, такова жизнь. Бабушка, как правило, её чем-то угощает, та отказывается, и её долго приходится уговаривать, чтобы съела какой-нибудь гостинец из Братска. Придёт, бывало, сядет на широкую лавку и скажет:

– Брюхо болит! Всё ноет и ноет!

Бабушка ей в ответ:

– К врачихе сходи, полегчает, может.

Кока замашет руками:

– Хоила, хоила, всё одно болит.

Мама всегда привозила Коке какие-то таблетки, в районе таких не было, говорила ей, как правильно принимать лекарство, и сестра бабушки тогда отвечала:

– Слава те, Господи! Дождалась Наську, топерь легше буйт.

Кока держала козу, я иногда заходил к ней в маленький, старенький домишко, казалось, если подует сильный ветер, то он развалится, тогда, наверно, сестра бабушки Кока будет жить с нами, думал я, у нас ведь новый дом. Однажды в сильную грозу Кока была у нас, и, когда ударил гром, она, крестясь и испугавшись, говорила:

– Илия-Пророк на колеснице едет.

Часто лёжа на печи, Кока укрывалась телогрейкой и опять говорила, что хворает. Она всегда угощала меня козым молоком и лепёшками. На деревне все пекли пироги и лепёшки, пироги обычно были большие с картошкой, капустой, кашей, ягодами, яблоками. Съешь один такой – и сыт весь день, но мне их есть не хотелось, зато молоко пил я с удовольствием. И суп бабушкин из русской печи очень любил, все любили, видно, не отведашь мне больше такого супа, как же хорошо внутри становилось после супа деревенского...

Прошло много лет, бабушка давно померла, нескольких лет не дожила она до ста лет и почти до конца жизни работала. Её сестра Кока умерла намного раньше, долго болела, лежала, и бабушка кормила и ухаживала за ней до последнего дня. Да и моя башка теперь вся седая, куда от этого денешься, если доживёшь до «полтийника»... А так и вижу, как бабушка несёт к своей Коке маленький горячий чугунок со съестным, чугунок этот обмотан тряпицей, чтобы медленно остывало ёдово. У самой из-под платка торчат напрочь седые волосы, но она терпит, не прибирает их, а лишь когда придёт к сестре, тогда и поправит платок, и уберёт волосы. Снится мне, как бабушка идёт с куском хлеба на стойло, кормит свою любимую Красотку, доит. Давно умер и дядя Вася, доживший до восьмидесяти лет и говоривший землякам, что не думал, что столько проживёт. Тётя Дуня рассказывала мне, что дядя Вася благодарил Бога, что дал ему столько пожить...

Однажды после армии я гостил у бабушки своей Татьяны Ивановны, по делам ездил в район, пообедал там в столовой, приехал вечером. Бабушка достала ухватом из русской печи чугунок, выставила на стол ещё тёплую пшённую кашу, налила ещё тёплого супа, прямо в чугуне с кашей наверху лежали яички, бабушка положила их туда сырые, а когда каша утомится, то и яички готовыми становятся. Вот так просто вам всё рассказываю, от души.

А сперва я от еды отказался, сказал бабушке, что поел в столовой, попросил не тревожиться – и ответом её был поражён. Бабушка, посуровев, сказала:

– Вот придумал! Это цаво они в столовых накормят?

Потом тут же смягчившись и лицом, и голосом:

– А ты съешь, сыночек, яичко-то, съешь, цаво оне там накормят, я тебе винца для аппетита налью.

Выпил две рюмки настоящей на ту пору водки, поел и суп, и кашу, и яички, на радость бабушке, а радость эту я прочитал на её лице.

В этот же приезд напарились с друзьями в бане, деревенским хоть бы что, а я угорел, лежу на кровати, башка болит так, что таблетки не помогают, а деревенские друзья: Сергей, Иван, Слава, Володя, Валерка, – в клуб зовут громко под окошком: «Толик! Выходи! Пойдём погуляем!» Эх, друзья мои сердешные, думал я, слабый я оказался, угорел так, что силы нет. Так и не пошёл я тогда в клуб. Бабушка всё причитала:

– Цаво я Наське скажу, уморили парня. Ой! Слабые вы, городские!

А однажды зимою шёл я из района пешком в деревню, кругом красивые белые колхозные поля, нёс ящик пива, уморился, хотел угостить деревенских товарищей, сам я пиво не очень

любил, но любил угощать, как-то тепло на душе становилось. Помню, остановилась бортовая машина, и меня, к моей радости, подвезли. Прихожу домой, ставлю на пол ящик с пивом, а бабушка говорит:

– Весь в мать! Та всю дорогу всех угощала, топерь вот ты, Натоллий, угощашь, ну и гоже, не подумают, что жадный, вот и слава богу.

Мама с сестрой своей Машей ездили к тётё Дуне до последнего, пока мама не умерла от ковида, и тоже постоянно таскали хлысья в гору. Наш старый вокзал в Гидростроителе помнит эти многолетние поездки, но никому не рассказывает. За жизнь Дуня сплела, наверно, многие тысячи корзинок, и в этих корзинках есть и наш труд.

Вот пишу и думаю, сколько похожих воспоминаний у многих в душе, ну, чего повторяться, а вот пишется, и объяснения, на мой взгляд, тут особо ненадобны. Так жили на деревне, а раз душа попросила, то и надобно написать. С того дня, когда Евдокеюшка косила траву, прошло, наверно, лет под сорок. Сколько людей, которых я знал, теперь лежат на погосте, и они жили насыщенной жизнью, растили детей, почитали стариков. А старики-то какие – как мой дядя Вася! Всё это в моей памяти будет, покуда голова соображает.

Когда мои рассказы публикуют бумажные журналы и литературные сайты, откликаются на них люди в основном положительно, но вот молодое поколение порой недовольно диалектными словами, совершенно не понимая, что именно такими словами разговаривали их прабабушки с прадедушками и нужно язык наш родной всеми силами хранить.

На этот раз я, почти пятидесятилетний мужик, иду с тётёй Дуней за хлысьями, так их называет Евдокия. Растут они рядышком с той самой речкой моего детства. Раньше было видать с горы речку далеко-далёко, теперь пробираемся через огромную траву, и вот наконец доходим до речки. Господи! Здесь всё до единой травки было выкошено и съедено коровами. А теперь всё заросло! Тревожно стало на душе, ох, уж эта моя нынешняя тревога, доберёмся ли обратно, не ведомо.

Вспомнилось, как друзья рассказывали мне, что весной, когда речка Леметь сильно разливалась, деревенские мальчишки надували большие, старые, клееные-переклеенные, резиновые камеры. И вот на этих камерах они плыли в соседнее село, оно было совсем близко, и таким вот образом привозили на деревню хлеб, набирали целыми мешками, надобно и скотине дать, и самим поест. Радость мальчишек от того, что они помогают родителям, была шибко заметна. Родители хвалили своих изобретательных детей, а кто-то и ругал, это, чтобы не брали с собою маленьких – речка была холодна. Парни младших, конечно же, не брали, а те, знамо дело, очень хотели с ними на камере поплавать. Стояло младое племя нашей деревенской России на берегу, радостно махало ручонками, провожая и вскоре встречая своих старших братьев. Одежка на них доставшаяся от старших. Смотришь, на парнишке штаны большие, крепко затянутые верёвкой, но всё одно спадают, на девочке платьице либо уже маленькое, либо велико ей, и это ничего, на это никто не обращал внимания, лишь бы руно какое-никакое было на человеке. Руном моя бабушка называла одежду. Помню, и моя мама посылала посылки с моей одеждой, из которой я вырос, двоюродному брату Сергею Носову, у него было пятеро детей, и одежа моя износилась за милую душу...

Рядышком с детьми на бережку стояли старухи, много их, сердешных, тогда было, милые сердцу вдовы войны, от такого зоркого ока не спрячешься, так что все дети были под присмотром. Смотришь, кому-то штаны бабушки подтягивают, кому лицо фартуком вытирают, этот самый фартук был, как правило, из мягкой материи, и почти всегда испачкан печной сажей. А парнишка, которому от роду семь лет, недовольно машет головой, де, баб, чего ты мне мешаешь на брата глядеть, который такой отважный, словно капитан самый настоящий. Бабушки вздыхают и говорят:

– Вот охальники! Аспиды окаянные! Назола с ними! А куды денешься, наши все.

И вот подплывает армия с отважными деревенскими капитанами на камерах, мешки доверху наполнены хлебом. Радостный крик детей переполняет всю округу: «Ура!», «Вон, гляди, плывут, ух, отважные, эва!», – и уже какой-нибудь малец говорит своей бабушке: «Вырасту, буду капитаном». Бабушки зорко глядят за внуками, кто рядом на берегу, не дай бог, соскользнёт в воду, и за теми смотрят, что на камерах. Потом идёт выгрузка хлеба, бабушки с подростками внуками тащат мешки в гору, там деревня. Хлеб этот ещё тёплый. И через мгновение мальчишки и девчонки уже носятся по улице с отрезанными кусками хлеба в ручонках, у кого-то на белом куске хлеба насыпан сахар, размоченный водичкой, смотришь, и похожие куски с сахаром уже у многих. А кто-то и так ест тёплый хлеб, и вкусно всем, и хорошо, родные дома, ласточкины гнёзда, лепота.

...Наконец дошли до кустарников, деревьев и речки. Она кажется такой заброшенной, страшно тоскливой. Да так и есть – нет купающихся ребятишек, но, главное, нет той радости, которую тогда испытывал, видимо, потому что среди ребятишек был и я. Господи! Дуня нарежала хлысьев, связала верёвкой, и я тащу хлысья в ту же гору, в которую мама затаскивала траву. Вспоминаю, как мамочка тащила тяжеленую вязанку, и от тяжести у неё даже тряслись ноги. Проходит дня два-три в такой работе, Дуня объясняет:

– Вот ты уедешь в свой Братск. Ты там жить привык, до пенсии доработал сварщиком. А мне зимой чаво делать? Буду корзинки плести, на базаре их люди покупают и рады.

Я спросил: откуда ты, тётя Дуня, силы брала? Я работал на крупном производстве сварщиком, да, работа тяжёлая, в цеху шум такой, что на ухо друг другу орём, но она не идёт ни в какое сравнение с деревенской работой.

– Да! Мы-то что? Вот деды да родители наши, вот те работники были. Лошади дохли, а оне роботали, сильные были. Мы слабее, но всё же и в нас сила была, пока молодые, и жизнь, хоть и изработашься, в радость тогда была, главное, люди вокруг все были добрые. Поговоришь с таким человеком, и легче деется, а человек этот просто два-три добрых слова тебе сказал... Да ведь и изломалась вся, сколь в больнице лежала, и операции, грыжи, жёлчный удалили, теперь вот чего съешь – болит, травы пью да Богу молюсь.

Стою возле речки, гляжу на умело работающую тётю, которая готовит мне очередную поклажу, помогаю как умею. Здесь маленькая, по сибирским меркам, речка Леметь, отсюда когда-то очень давно уезжал мой дядя Серёжа строить Братскую ГЭС. Легендарное было время. У нас большая река Ангара, исток у неё – сразу километр. Говорят, что больше нет такой реки с таким истоком. Теперь много по берегам Ангары разрослось облепихи, птички с удовольствием едят такую пищу. Появились на Ангаре бакланы, они съедают много рыбы, рыбаки огорчаются, матерятся, появились и цапли, видно, и впрямь климат меняется.

Ангара – могучая река, каскад электростанций приносил и будет приносить нашей державе громадную прибыль, глянешь на Ангару – и невольно подумаешь о великой нашей России. Немало в моей памяти утонувших на Ангаре людей, среди которых был мой друг Коля, немало погибло и на Братском море, на моторках, баржах, катерах, кораблях. Такова жизнь, что горе с радостью повенчаны.

Рыбаки рады улову на Ангаре и, конечно же, нашей могучей, щедрой во все времена природе. На Байкал ехать не надо, у нас всё такое же. Только одна река из Байкала вытекает, и это наша величавая, холодно-ледяная, с непростым нором Ангары. Права моя тётя Дуня, конечно, я привык к Братску, где родился в самом начале шестьдесят шестого года. Но, боже, как же я благодарен мамочке, что она каждый год возила меня в деревню за пять тысяч километров! Ощущение Родины для меня от всего этого ближе. «Река – речка – речушка – реченька», – так и звучит в душе, помогая мне дышать воздухом нашей Отчизны, детством, юностью, а теперь уже и пенсионной жизнью.

Река Ангара, речка Леметь...

## Башечки

Четверо, все – мал мала меньше. Старшему, Матвейке, двенадцать, Никитушке – девять, Настеньке восемь, Алёнке семь. Были бы ещё два братика и сестрёнка, но младенцами померли. Сколотит, бывало, тятя махонький гробик да на погост отнесёт. Вороны тревожно каркают, а Иван рядышком с родными сердешного своего младенца хоронит. Слёз не остановить, язвы их в душу, все глаза словно от воды залиты окаянными слезами. Без конца смахивал Удалов слёзы, но не помогало. Да ещё вороны душу тиранят, ишь раскричались, думал отец.

Глубоко пытается вздохнуть деревенский мужик, да полного вдоха не получается, в нутре хрипит что-то, наружу просится. И вдруг, стоя среди погоста, он подумал: «Хорошо, хоть четверо выжили. Слава те, Господи!» Придёт домой, жена Степанида после долгих молитв и слёз бутылку самогона на стол выставит. Выпьет Иван стакан залпом и больше не станет. Некогда крестьянину пить, какое б горе не было...

Все четверо – на русской печи, из-за старенькой занавесочки на мать родную поглядывают. Кирпичи на печи уже чуть тёплые. «Это ничего, – думает младое племя Удаловых, – мамочка сейчас натопит печь, снова горячими станут». Прошлой весною, когда речка поднялась, нанесло много брёвен. Мама привязывала к бревну верёвку. И вот Степанида, Матвейка с Никиткой тащили это бревно до дому, за ними бежали Наська с Алёнкой, хотели помочь, но мать отгоняла их:

– Ну-ка, домой, на печь, застудитесь! На ваш век хватит надсадушки, живо домой!

Ослушаться мамочку любезную никак нельзя, бегут сестрёнки домой, Наська за руку тащит Алёнку, заботясь о ней. Так и натаскали этих принесённых речкой золотых брёвен, а потом всё лето Матвейка с Никиткой пилили их. Дело шло небыстро – пила тупилась, а главное, силёнок не хватало – всё время хотелось есть. Крепко выручала рыба. Всё надобно успеть на деревне: и рыбку половить, и дров напилить. Бывало, скажет Матвейка брату и сестрёнкам:

– Мамка-то в колхозе измаялась, изнахратилась, вон одни кости торчат, работают до одури, еле живая до дому доходит.

Слушают старшего брата все внимательно, жалко всем мамку, сестрёнки плакать начнут, но Матвейка их тут же громким словом успокоит. Наська с Алёнкой, как только Степанида возвращалась с надсадной колхозной работы, едва мать сядет на лавку, тут же спешили снять с мамочки лапти. Надо было развязать верёвочки, расслабить намотанную на ноги ткань и только после этого освободить ногу от лаптей.

Скажет, бывало, маманя:

– Доченьки! Христовенькие! Сняли шоптаники мои.

А детям чего? Рады-радешеньки, мама ласковое слово бает.

Были в доме старые тятины сапоги, да в них Матвейка уже ходил, наматывал на каждую ногу по две портянки и ходил. Радовался в душе, что такую драгоценную обувь носит, но виду не подавал, чтобы Никитка не завидовал.

Утром, когда мама чуть засветло уходила на работу, старший сын долго отлёживаться никому не давал. Спать хотелось – мочи нет, но старший брат, на то он и старший! И вот уже Матвей командует:

– Давай пилить дрова!

Никитка занает:

– Все руки в мозолях, давай к деду Силантию сбегам, он нам пилу заточит?

Эх! Думал Матвейка, что хитрит Никитка, но и пилу заточить надобно. Дед Силантий никому не отказывал. Заточит, сядет на лавочку, закурит самокрутку и скажет:

– Вы, робяты, пошто так часто бегаєте ко мне? Ишшо справна пила ваша, маненько только затупилась. Подправил, теперя няделю пилите, не ходите ко мне понапрасну. Чего обутки протаптывать? Попилили, дух переведите, а опосля снова пилите, так дело и пойдёт.

Матвейка в такие моменты отвечивал Никитке затрещину. Тот молчал, знал, за что получил.

После заточки пилы дело шло веселее. Расколет Матвейка чурку, другую, и несут в сарай по драгоценному полешку сестрёнки родимые. А Матвейка обязательно напомним:

– Наська! Алёнка! По одному полену берите. А то надорвётесь, а мне отвечай.

Матвейке было до смерти жалко сестрёнок. «Кормлю, кормлю их рыбой, а оне всё одно тощие». Часто вспоминал старший сын Удаловых, было ему тогда девять лет, волокли они с маманей брёвнышко из реки, а как не тащить, чуть проморгаешь бельмами – другие уташат!.. Вот тогда-то он первый раз надорвался, болело брюхо. Матвейка старался виду не показывать, но боль была сильной, и мальчик сильно сожалел, что постанывал от боли, а мама рядом сама не своя. Степанида в слезах молилась на иконы, а старший сын успокаивал:

– Ну, будет, мама! Будет!

Степанида Михайловна бабушку Лукерью позвала. Та лечила надсаду, а после маманя травами подлечивала. Бани у людей в деревнях стояли у речки, часто уносило бани в половодье. И вот выходило так, у кого баню унесло, горе, а через много километров в какой-нибудь деревеньке брёвнышки от уплывших бань шли на дрова или строительство, вот и радость...

Такова жизнь. Маманя что-то в печи варит. А из чего? Вроде всё подчистую съели, замороженные картофельные очистки, ко-торые мама варила последнее время с квашеной капустой, уж как три недели назад закончились. Весна на дворе, май месяц, но холодно ещё. Только к середине дня потеплеет маленько, и снова холодно, одно слово – «Сибирь».

Отец их, Иван Иванович Удалов, писал, что до Берлина скоро дойдут, больше писем не было. И дети, чуя боль матери, остерегались спрашивать маму о тяте. Матвей, как только замечал, что кто-то разевал рот на эту тему, сразу затрещину отвечивал.

Степанида Михайловна, бывало, скажет сыну:

– Ну что ты их, Матвей, колтыжишь? Рази оне виноваты? Будет тебе, будет, охолони. Будем ждать тятю нашего сердешнаго. Когда вернётся, я его в бане отмою, на печь уложу, и, наверно, неделю смотреть на него стану, пушинки с лица сдувать. Намаялся, сердешный, за войну проклятушую, будь здоров. Пусть лежит, отдыхает. Никуда не пушу. Эх! Вот только чем накормить?

Поглядит старший сын на мечтающую мать да и скажет:

– Накормим, мам! Я рыбы наловлю! Насолим, проживём. Да и тятя ни в жисть на печи не станет лежать. Зверя подстрелит, вот и мясо.

Матвей первым соскочил с печи, глянул в горнило, где дружно горели дрова. Томился чугунок с чем-то съестным.

– Мам! Ты чего там варишь?

– Грибы, да картошки для вкуса маненько бросила, посолила, должно, вкусное ёдово будет.

Матвей широко раскрыл глаза:

– Да картошка-то откуда?

– У Дуни Бурниной маненько взяла. Она ныне добрая, муж Василий раненый, без ноги, вернулся, живой. Эх! Как бы мы без Дуни-то, всё чё-то подкинет, жалеет нас. Мы вчерась на радостях брашки отведали. Ой, захмелели, нарevelись.

Сказала эти слова Степанида и подумала: «Ой, я с Матвейкой-то, как со взрослым баю». Немного подумав, прибавила про себя: «А он уж давно взрослый, от жизни нашей. И как бы мне без него, Пресвятая Богородица?! И ягоды сколь на зиму насобирал, грибов, рыбы насолили, всё зима подобрала! Вернётся Иван, скажу, кто главный мой помощник был».

Матвей скомандовал:

– Ну-ка, живее подымайтесь! Тошнотиков искать будем.

Степанида, посуровев лицом, тихо сказала сыну:

– Пусть поспят ишшо, пока спят – и голод не страшен.

На печи уже никто не спал, и Никита, громко зевая, говорил матери:

– Ага! Неохота! Мне во сне всегда жрать охота, вот бы наесться досыта хлеба! Я бы пять булок съел.

Матвей тут же закричал на брата:

– Съел бы, и брюхо заболело! Чё тогда с тобой делать? Подымайся, гвардия, вперёд, в поле.

Никита прыгнул с печи, обулся в лапти и перечил брату:

– Да уж сколь раз прошли, нету там ничего.

Тошнотиками в их деревне называли прошлогоднюю картошку. Как не старались бы тщательно выбирать клубни, а в земле всё равно немножко картошки оставалось. Дети ходили по полю, где копали, где ногами распинавали большие куски земли, где палкой ковыряли ещё неотдубившую от мороза до конца землю, но за день находили с десяток мелких клубней или, если повезёт, то средних размеров.

Однажды, пнув большой кусок земли, Никитка увидел большую картофелину и радостно закричал:

– Ура! Еда! Еда!

Всё шло в дело. Колдовала маманя, добавляла коры, лебеды, ещё чего-то. От такой еды детей тошнило, мучились ребята животами.

\* \* \*

В тот день из района приехал председатель их колхоза Захар Игнатьевич Фёдоров. Заворотил в свой двор коня, зашёл в избу, вытащил ружьё, вышел на крыльцо и выстрелил два раза в небо, крича во всё горло:

– Победа! Победа! Победа!

Берёт шибко председатель патроны. А как не беречь? Когда зверя добывал, на всю деревню делил мясо. Любили его люди, а тут, ради Победы, не пожалел два драгоценных патрона. Сбежались на выстрелы и крики люди от мала до велика, а председатель уж команду даёт:

– Знаю, ничего ни у кого нету, но всё одно несите, что есть, я из района два литра спирта привёз и пшеницы два мешка дали.

Удивились люди, как это председатель добыл спирт.

Фронтоник Василий громко говорил:

– Ух, головастый ты, Захар! Да как добыл-то?

– Да как, Василий! В прошлом году мы хорошо сдали зерна государству, рожь выручила.

А я, когда узнал про Победу, говорю при всём начальстве: «А моим бабам и отметить Победу не на что! Голодные все, глядеть на людей страшно». Расщедрилось начальство, едрёна корень, я и сам не ожидал, разве дадут чего? А тут, вишь, Победа.

Стол, как и было заведено, собрали на улице, кто квашеной капусты принёс, кто картошки наварил, у кого она осталась, но таковых было мало, солёных грибов принесли, рыбу солёную с душиком. Два мешка пшеницы тут же перемололи и из муки напекли пирогов с грибами. Лукерья Фёдоровна Погодаева принесла каравай хлеба, непонятно из чего сделанного. Была на столе и бражка. Пили за Победу, закусывали скудным ёдовом и быстро опьянели – от слабости и недоедания. Степаниде Михайловне на общий стол нести было нечего, не поне-

сёшь же, в самом деле, тошнотики, но соседка Дуня, у которой вернулся с войны раненый муж Василий, забежала к ней:

– Молчи, Степанида! Молчи! Ничего не говори, всё знаю. Пойдём, поможешь чугуна с картошкой донести, да самовар, я чай с травами заварила.

Ох, и благодарна была Степанида милой Дуняше за это! Выпив совсем маленько, запьянела и тихо плакала. Но плакали почти все. Лишь председатель, захмелев, хорохорился:

– Ничё, бабы, теперь полегше будет, мне и в районе так начальство сказало.

Каждый отломил по маленькому кусочку Лукерьиного хлебушка. Медленно жевали и гадали: из чего это она ухитрилась испечь, а кто-то вслух рассуждал:

– Ух, умна баба! Ух, умна! Эх! Додуматься надо! Едрёна корень!

\* \* \*

Сколь ни долгим из-за голодной жизни казался Степаниде май, а и он схлынул, словно талая льдина в речку. Матвей с Никиткой целыми днями рыбачили, а с рыбёшкой в доме жизнь пошла повеселее.

Иван Иванович Удалов до Берлина не дошёл совсем немного, был тяжело ранен. Когда пришёл в себя, память нарушилась, долго не мог вспомнить, кто он. Медленно возвращалась память, и наконец вспомнил имя, фамилию. Вспомнил и то, как не вовремя закончились патроны в бою. Бились врукопашную, немец был здоровый, и чем-то проломил Ивану голову. Да две пули угодило: одна – в плечо, другая – в ногу, и осколками от гранаты задело. Чудом заметили, что ещё живой, а так был бы в общей могиле на чужбине.

Первым делом позвал медсестру.

И с удивлением узнал, что лежит он уже почти два месяца. Медсёстрам сказал:

– Спасибо, сестрёнки! Из ложечки, как маленького, кормили. Эх! И достаётся же вам, родные!

Сразу написал письмо Степаниде. С того дня, как себя вспомнил, стала одолевать грусть о доме, и врачам пришлось приложить немало усилий, чтобы удержать фронтовика в госпитале. Военный врач Сергей Панкратович Снежин говорил Ивану: – Чудак человек, ты окрепни, тут вон какая кормёжка. В деревнях по России плохо с едой, сам, поди, знаешь. Где жена тебе еды хорошей найдёт? Будешь чахнуть, а тебе нельзя. Лежи и, главное, на еду налегай, такой мой тебе наказ. – И уже более спокойным голосом Сергей Панкратович добавил: – Окрепни, солдат, успеешь теперь вернуться домой.

Через месяц Иван Иванович Удалов переступил порог своего дома. Возле родной избы Степанида, обняв мужа, повисла на нём. Стояли они так довольно долго, земляки, знамо дело, окружили их. Дуняшин Василий кричал:

– У нас и так речка каждый год из берегов выходит, вы чё, бабы, хотите, чтобы летом снова вышла?!

И снова общий стол на деревне, но побогаче Победоносного. Председатель свинью квёлую заколол и всем велел, что если начальство приедет, то чтоб молчали о свинье. Всё одно толку с неё мало, а тут в самый раз сгодились. Пили слабый самогон, сделанный из мёрзлой картошки, бражка пилась, слёзы текли по вдовьим лицам. Да разве только по вдовьим?! Куда без них, окаянных. Деревенские дети были рады такому дню, особенно Никитка Удалов, но были и такие дети, которые успокаивали матерей, чтобы они не плакали.

Настя Удалова прильнула к матери и говорила: – Mam! Не плачь! Тятенька воротился живой, будешь теперь, как мечтала, на него цельную неделю на печи глядеть, а мы рыбу будем вам варить.

Вернувшихся с войны деревенских мужиков было всего пять, да и какие они были?! Один без ног, другой без руки, третий без ноги, четвёртый с больными лёгкими, да и Иван Удалов

слабый после ранения, когда отудбит, неведомо. «Снова бабы, словно лошади, пахать будут, беда», – с тревогой думал председатель...

На следующий день из мешка отец достал железные банки, испечённые в городе пять булок хлеба. Принёс он двадцать булок, но вчера положил на общий стол. В районе ему столько хлеба не дали бы, но помог друг из их деревни. Закрутил он с одной продавщицей, но строго наказал Ивану никому ничего не говорить. Обнялись они тогда с Лексеем, а он вдруг сказал:

– Знаю, в родной деревне ничего нет, пусть хоть земляки хлебца отведают, себе пять возьми, остальные – землякам. Но запомни – обо мне молчи.

Иван встрепенулся: – А почему мне пять булок-то?

– Да потому, дурень, что знаю я, кто хуже всех на деревне живёт. Пусть Степанида твоя хоть на хлеб поглядит.

Открыл фронтовик одну железную банку ножом, достал ложку, подозвал Матвея, дал попробовать и так дал каждому своему дитю и жене. Сказал:

– Мать! Вари щи, тушёнку добавь, я ещё вчера от Василия узнал, что у вас ни картошки, ни квашеной капусты нет. Он, молодец, расстарался, и картошки ведро припёр, и капусты, и рыбы солёной. С душком рыба-то, нашенское ёдово!

Дочки запрыгнули на тятины коленки. Иван гладил их по башечкам (в их деревне головы детей ласково называли «башечки»), руки невольно соскользнули на их худющие спинки, сердце дрогнуло фронтовое, закололо под лопаткой:

– Эх! Отощали вы, мои сердешные! Мы там, на фронте, ели хорошую пищу, а вы тут вон как! Оно понятно, всё для фронта, всё для Победы...

Никитка, попробовав тушёнки, сказал:

– Я бы эту банку всю съел.

Отец улыбнулся, но серьёзно сказал:

– Нет, брат, после голодной жизни нельзя есть много жирного, заворот кишок может быть, и тогда помрёшь, а мне ты живой нужен.

Пришло время, на деревне все копали картошку, копала и семья Удаловых. Отец рядом развёл костёр, и немного погодя все ели печённую на углях картошку, тут же и чай на травах подоспел. Иван достал из кармана кусок сахара, расколол ножом, и вся семья бережно, по маленькому кусочку, отведала драгоценный сахарок. Всем казалось, что ничего на свете вкуснее нет.

Никитка не выдержал:

– Я бы этого сахара, не знаю сколько бы съел. Матвейка привычно одёрнул брата:

– Тебе только бы пожрать. Эх, и берегли они семенную картошку! Сколько раз Степанида глядела на неё, сколько раз хотелось плюнуть на всё, сварить и наестся. А как быть на следующий год?! Именно это и останавливало, ох, останавливало. Раньше времени состарившаяся женщина денно и ночью думала, чем накормить детей. С коровой было веселее, но околела в прошлом году, и это было страшным горем для Удаловых. Лежала корова Красотка, ничего не ела, бока впали так, что было видно кости, и казалось Матвейке, что вот-вот кости эти наружу вылезут.

Рядом стояла Степанида Михайловна, две её дочери плакали, не плакал Никитка, непонятно, о чём думал. Матвейка как мог успокаивал мать:

– Матушка! Скоро весна! А там лето! Выживем. Может, ещё выдюжит Красотка наша, травка зелёнька пойдёт, пощиплет, легче станет...

Матвей всю оставшуюся жизнь вспоминал «тошнотики», не раз видел во сне: идут они по полю, братишки и сестрёнки, и мечтают найти мёрзлой картошки. И он просыпался в слезах. Никита не вспоминал про «тошнотики», он хорошо теперь питался, женился, растолстел,

держал много скотины. Настя с Алёнкой, может, и вспоминали про «тошнотики», но когда им было об этом думать? У обеих по шестеро детей, было бы у Алёнки семь, но сынишка младенцем помер, а у Насти седьмой мальчишка в аварии погиб. Муж работал шофёром, взял с собою сынишку. В одном месте был резкий спуск, дорогу из глины развезло, а рядом обрыв, утянуло машину в обрыв, мальчик погиб, отец живой остался, после еле отудбили от душевной окалины молодые родители. Хорошо, что помногу ребятишек рожали, именно дети спасли от тоски.

А как иначе? Надобно кормить, стирать, обшивать, скотина домашняя да колхозная работа, так жили... Когда Матвей просыпался в слезах, жена Мария успокаивала его нежными словами, а про себя дивилась: «На людях-то мой вон какой видный мужик, а вот, гляди-ко, не забывает детство. Так, наверно, в душе, всю жизнь и промается, сердешный». Подумала жена Матвея об этом вот ещё почему. Вспомнилось, как поехали однажды в город. Всё работа и работа колхозная, а старшему сыну Саше было уже шестнадцать лет, второму сыну, Славе, четырнадцать, Сергею двенадцать, Валерке, последышу, десять. Так думали, что последыш, да через пять лет родилась дочь Галя.

Вот тогда-то после осенней уборки и вывез всю семью Матвей в город. Хотел сделать для семьи праздник. Сходили в кино, театр, на следующий день попали в цирк, поужинали в ресторане, два дня прошли отлично, дети были рады. Ночевали в гостинице.

На следующий день собирались уезжать в деревню, и так соседку Евдокию попросили за скотиной поглядеть. И вот, проходя по площади, Матвей увидел, как один парень бросил на асфальт надкусанную булочку. Матвей сначала вежливо попросил поднять булочку, парень нагрубил. Собрались вокруг люди, Матвей дал чувствительную оплеуху парню, громко в сердцах сказав:

– На тошнотики бы тебя посадить! Хлеб – это святое, а ты его бросаешь, олух.

Но мало кто прислушался к словам Матвея, наоборот, заступались за парня. Тот даже ехидно улыбался, вызвали милицию, Матвея с тем парнем увезли в отделение. Мария с сыновьями остались на площади. Ей казалось, что все проходящие мимо люди смотрят именно на неё и осуждают. Сыновья как могли успокаивали мать. Мария села на лавочку, Саша сбегал за мороженым, но мама ничего есть не хотела. Сыновья стояли рядом, ели мороженое. Настроение хуже некуда, и даже мороженое казалось невкусным сыновьям. Но были они из деревни, не выбрасывать же добро, доели до конца. Приехали домой, рассказали председателю о поездке. И хоть Матвей был передовиком в колхозе, имел трудовые награды, дело могло закончиться плохо.

Разобрался в деле подполковник милиции, каким-то чудом узнавший об этом случае. Вызвал к себе Матвея:

– Мой тебе совет, Матвей Иванович! Ты лучше в деревне живи. В город незачем тебе ездить, тут видишь, как с тобою обошлись? Люди сложные. Парень тот, которому ты оплеуху дал, на учёте у нас в милиции, заявление на тебя хотел написать, да и общество посчитало, что ты обидел ребёнка-жеребёнка. Хорошо, что свидетели все разбежались по делам, а то бы и посадить могли.

Подполковник умолк, потом добавил:

– Ты колхозник! Нас, городских, стало быть, кормишь. А тут, брат, жизнь поменялась. Я сам из деревни, всё понимаю, езжай домой.

Матвей Иванович Удалов больше не ездил в город, лишь однажды, и то на операцию. Сыновья переженились и укатили на жительство в город, уехала и дочь Галя, выучилась на медсестру. Чуял душою Матвей, что найдёт она в городе кого-нибудь и останется там. Лишь старший сын Саша остался жить и работать в деревне. Вместе с отцом выстроили они новый дом. Но детей почему-то новое поколение рожало мало. Вот и у Александра были двое, сын Иван и девочка Нюра.

Не понимал Матвей, что это с людьми происходит. И еда есть, а рожают мало! Так ведь и Россия вымрет, ежели не одуматься. Все хотят жить не хуже других, да оно и верно, стали жить лучше, а детей – меньше. «Ведь состарятся, а в старости отдушина потребна. Вон как мои отец с маманей радовались внукам. Это ж не вышептать, не выкричать, как радовались! Я, грешным делом, в такие моменты плакал. От радости плакал, глядя на родителей. А они, сердешные, все в морщинах. Отцу дыху не хватало, задыхался, у мамы ноги болели. Так и жили на старости, отдушина завсегда потребна нутру человека...»

И вот однажды сидит на лавочке возле родного дома Матвей, курит и видит бегущего к нему, запыхавшегося сына Сашу. На сердце стало беспокойно, не случилось ли чего?

Сын подбежал и протянул отцу тетрадь. Оказалось, внук Иван написал в школе сочинение про тошнотики и получил пятёрку. Долго потом Матвей вспоминал строки из сочинения внука, наизусть запомнил несколько предложений:

«Была страшная и проклятущая война! Был голод. Моя прабабушка Степанида не знала, чем накормить детей. И мой дед Матвей с братом и сестрёнками ходили по полю и искали мёрзлую картошку. Потом прабабушка её готовила в русской печи. Называлась такая еда «тошнотики».

Матвей Иванович вышел на пенсию, работал бы, наверно, ещё какое-то время, но жена Мария запретила – был Матвей уже весь больной. Увидев однажды, как тяжело поднимается муж с постели, жена скомандовала: «Хватит ломить! Проживём на пенсии, куры свои, поросёнок, коза, хватит, Матвеюшка. Хватит».

Видел Удалов, как погибала на его глазах деревня. Сколь гробов, деревянных, и железных крестов для земляков сделано его золотыми руками. Люди приносили ему доски, гвозди и железо. Ни с кого денег не брал, разве только бутылку, и то надо было уговаривать, чтобы взял. Каждый человек на деревне – твой земляк, всё знаешь про него, и про детей его, внуков. Вот, кажись, намедни разговаривал, а уж нет человека. Помянешь человека, выпьешь за столом, голова по-другому работает. Поглядишь на земляков, страшно становится: всё меньше и меньше на деревне живых людей, а на погосте больше, намного больше. Не раз говаривал он Марии: «Сади, выращивай, и всё у тебя будет. Чего все уехали?» А жизнь шла своим чередом. Казалось Матвею, что весь мир сошёл с ума. «Мы впроголодь жили, но не вредили никому, дружно жили, а ныне чё деется и почему?»

Мария ложилась спать после Матвея. Глядя на спящего мужа, вздыхала, считала его морщинки. А утром рано вставала, молилась за Россию, за детей, внуков, и в такие вот утренние моменты жизни Матвей глядел на жену неповторимо добрыми глазами. Затем кипятил самовар, звал жену пить чай на травах с шиповником, которого запасал много: как же, и детям надо дать, и землякам, кто сам уже не может ходить в лес. Добрых людей угостить надобно.

А после чая его ждала стариковская работа по дому...

## Чеплышка

*Посвящая мамочке*

Всегда с чеплышкой своей неизменной ходила по белому божиему свету Анастасия. «А как без чеплышки-то?» – много раз думала Настя. В деревне в это окаянно-надсадное военное время именно в эту глиняную чеплышечку, бывало, наберёт Настенька ягодок да мамане, братику и сестрёнкам бережно несёт. А ягодка-то – она что? Она всю дорогу людей спасает. Земляника, голубица, черника, клюковка с брусничкой. И все в разное времечко поспевают, словно Создатель неспроста придумал все эти диковины для разнообразия жизни людской и для укрепления здоровья.

Дивилась Настя названиям ягод. Вот, к примеру, земляника, а в начале-то – слово «земля» идёт! Али голубица, тут и вовсе – девушку так можно назвать или птицу.

Раз захлестал дождь, подул промозглый ветер, а Настенька далеко в лесу была. Побежала до деревни, упала, и из чеплышки её вся земляника высыпалась. Плакала, но всю до ягодки собрала. И вот оно, родимое крылечко! Маманя навстречу бежит, телогрейкой дочку накрывает. Девочка, хоть и озябла, виду старается не показывать, не огорчать маму.

Бывало, бабы да старухи деревенские далеко в лес побаивались заходить, а Настя шла, хоть и боялась. В их лесу жил когда-то отшельник. Народ деревенский его святым считал, так Настя, хоть по годам молодая совсем, думала, что ежели святой тут жил, то с ней ничего плохого не случится, ведь на то они и святые, чтобы людей спасать.

Из холодного осеннего леса быстро шмыгнёт Настенька на русскую печь, не забыв в кармашки печи сунуть холодные, мокрые насквозь носки, но, перед тем как заснуть, обязательно на братика с сестрёнками поглядит, де, трепыхаются – стало быть, живые ишшо. Ничего не утаишь от материнского взгляда: видела маманя, как дочка носки сушить положила, и про себя отметила – толк с девки будет. Так же про себя и улыбнулась этому, а ежели открыто улыбнуться, пристанет с расспросами: чему, мол, мама, радуешься? И не отвяжешься потом, а тут кажинная данная Богом минуточка дорога. Не ровён час, председатель на работу крикнет, так что надобно поскорее ягоду да грибочки прибрать. Ох, и девка у меня отчаянная, другие вон, хоть и крепкие бабы, а боятся на Дружайху и Вискилей одни ходить, а дочка-то идёт. Сколько воевала с ней, сколько слёз пролила. Не забыть вовек матери, как однажды, когда Настенька долго не возвращалась из лесу, тихонько стукнула по спиночке её, сердешную, ухватом. В сердцах, не сдержалась, да тут же обхватила своё родненькое чадушко, сплелись воедино две кровиночки, а Настя вдруг говорит мамочке любезной: «Ты, мама, не убивайся, нам без ягод и грибов не выжить – околеем, а от ухватика твоего мне совсем не больно».

С того памятного дня зареклась Татьяна Ивановна руку поднимать на детей. Справедливости ради надо сказать, и не делала этого никогда, а теперь и подавно не станет. Не раз думала Татьяна: видит девка, как живём, вот и рвёт на себе жилы, а они, эти самые жилы-то, у неё только нарастать начали, укреп-то ещё хлюпенький совсем. А и то подумать: без грибов да картошки загибли бы мы. Это ж надо столько натаскивать, ведь всю зиму грибной супишко варим и выживаем так. Муж Андрей в сорок втором погиб, а ныне уж сорок четвёртый... Да поди с небес-то видит дочку – помощницу золотую, молится об ней, об нас. Молись, молись за нас, Андрей...

Вспомнилось матери, как выкидывала она маленьких котят под гору. Чем кормить их, окаянных? А кошка взялась приносить часто, спасу нет; вот не Настенька бы, может, и нас под гору надо бы выбросить.

Настя тем временем согрелась на кирпичах и стала засыпать. Мать уж на работу сходила, вернулась, а дочка всё спит. Перепугалась, стала будить, коснулась рукой головушки, а девка-

то вся горит. Быстро заварила сушёной малины и стала поить дочь. На следующий день – как ничего не бывало, Настя снова в лес собралась, да не пустила её мама. Она уж хотела послушаться, но глянула на мамочку и осталась дома. Дома-то сроду работу не переделаешь – взялась Настя плести корзинки. . .

Выросла Настя, уехала вслед за братом в далёкий сибирский город Братск. Почти сорок лет проработала на комбинате железобетонных изделий сначала бетонщицей, потом крановщицей. Одна вырастила сына, состарилась, но с чеплышкой той заветной не расстаётся. На даче только в неё ягодку собирает – память о деревне, мамане любезной в душе хранит. И покупают у неё ягодку на рынке. Она не из постоянных торгашек, а сезонных. В этом, две тысячи двадцатом, году люди облепиху у неё хорошо покупали. Грибочков для себя каждый год набирает, даже когда считается негрибной год, у неё всё одно грибочки есть. Много лет ходит бабушка Настя в православную церковь, приносит грибочки свои батюшке Георгию. Священник с радостью принимает дар от труженицы и давней прихожанки.

В сентябре стало прохладно. Сибирь, она и есть Сибирь – стали зябнуть старые, натруженные руки Анастасии Андреевны, так она наломает облепиху прямо с ветками и везёт домой. Сама с собой разговаривает, де, большого греха в том нет, что ломаю с ветками, много её, облепихи-то, вокруг разрослось, инда сорняк, а и гоже что так, всё для человека. А он, этот самый человек, часто совсем не думает об этом, а ежели бы думал, такого бы бардака вокруг не было. . . Придя домой, станет ягодка к яголке собирать облепиху с веток, станет сушить промокшую обувь, называя её по-старинному «коты». Наварит варение и снова в храм несёт: батюшку угостит и про деда Ивана не забудет, который дружит с её сыном. При этом говорит всем, что облепиха для желудка пользительна, даже язву лечит.

Печалилась шибко Анастасия Андреевна за сына. С работы сократили, стоит на бирже, да и там сказали, что выплаты прекращают. Нашёл бы её сын работу, да вот зрение у него стало совсем слабое, а в августе вовсе ослеп глаз. Дала с пенсии сыну мать на операцию, сделали в Новосибирске. Глаз не видел совсем, теперь смутно, но немного видит, другой же глаз видит на минус четырнадцать. Пенсии сыну по законам не положено, хотя сам местный поселковый окулист качал головой, с сожалением глядя на него.

Сыну Анастасии пятьдесят четыре года, и в январе он бы пошёл на пенсию, так как стажу у него около сорока лет, но законы изменились, и теперь ему добавили ещё три года. «Слава богу, сыновей успел поднять, – не раз думала Андреевна, – да, слава богу, жена Ирина не бросает».

Кажинное божие утро Анастасия Андреевна поднимается раньше шести утра. И каждый день у неё дела, нынче, например, надобно помочь сестре Марии капусту на рынок отвезти на тележке. У Анастасии разложена по целлофановым мешочкам солёная капуста, и она даёт продать её знакомой торгашке. Людям полюбился посол Анастасии, и они с удовольствием берут капусту.

Немного погодя Настя побежит домой печь пироги – хоть внуки давно стали взрослыми людьми, они по-прежнему любят бабушкины пирожки с капустой или картошкой. Ещё Анастасия Андреевна, хоть ей уже восемьдесят, второй год подметает свой подъезд девятиэтажного дома и делает раз в неделю влажную уборку. Даже зимой, когда настанут сильные морозы, неугомонный этот человек не сидит без дела, вяжет носки для внука, который любит зимнюю рыбалку, да и много кому вяжет. Много лет живёт она в Братске, и люди ей заказывают вязание – носки или женский тёплый берет.

Раньше Анастасия вязала тёплые кепки для брата Сергея и мужа сестры Марии, Геннадия. Теперь мужики покоятся на погосте. Часто вспоминает Анастасия, как спасала сынишку от морозов в холодном бараке. . . И в одном можно быть уверенным наверняка, что, если Господь даст ей, сердешной, силы и дальше, она будет работать до последнего божиего часа жизни.

## Подарок для дочери

Всю войну думал о жене Марии солдат Конев Алексей Петрович. Когда шли боевые действия, не до дум было, но всё одно проскальзывало. А когда он в окопах сидел, тут мысли лезли в голову, да они и спасали, ведь в них дом родной, сердешные мои люди. Каждый, кто на войне, думает о близких, так человек устроен. Но нет на белом свете одинаковой судьбы, вот где загадка. До войны в их сибирском селе было, в общем-то, неплохо жить, и люди не голодовали. Работа тяжёлая, но Сибирь-матушка рыбкой, птицей, зверем всегда человека подкармливала. Маша родила ему четверых детей, и три дочки во младенчестве померли. Сколотит маленький гробик Алексей да и несёт его на погост, а люди видят всё, жалеют, крестятся. Много старух горестно качают головами в такие моменты жизни, глядя на мужика, несущего гробик. А Алексей не глядит на окна земляков, потому что знает, что смотрят и молятся люди. Во многих домах младенцев хоронили, такова жизнь.

У каждого в деревенских домах детей помногу, и здесь особо грустить некогда, хотя и для этого время особое Господом отведено. Многодетные семьи спасали от ненужной тоски, да и работа спасала.

Саднило, ох, как саднило душу Алексея: «Ну, хоть один детёныш пусть выживет, Господи», – думал он. Четвёртую дочь, Анечку, уж как только ни пытались сберечь, после трёх предыдущих смертей. И вот, слава богу, уберегли.

Дочке уже пятнадцать лет было, а тут война окаянная случилась. Обнял на прощание Алексей жену и дочку, наказав, чтоб берегли друг дружку.

Сколько слёз было пролито в те страшные години, казалось, нескончаемого лихолетья.

Сибиряки – народ крепкий. Дважды был ранен Алексей Петрович, но снова возвращался в строй. Слава богу, одолели врага, возвращался Алексей домой. Тянуло так, что казалось, душа вместе с сердцем наружу выскочит.

И вот родное село! Ещё немного – и радость в его дом постучится.

В городе, пока он искал попутку до деревни, встретил земляков, они его с собой и забрали. Подвода понемногу приближала Алексея к дому, и он жадно вглядывался в родные места. Ничегошеньки от него не ускользало: птичка какая, травинка лесная, – всё мило сердцу выжившего в горниле войны солдата. Ему казалось, что всё живое встречает фронтовика, вернувшегося со страшной войны. Вовек не сочтёшь тех моментов, когда казалось Алексею, что всё, конец, а потом, и вовсе он перестал обращать внимание на это. А сам в себе, правда, отметил, что какая-то плохая у него привычка появилась: думал, ну и что – как будет, так и будет.

Он знал, отчего это всё... Сотни сотоварищей погибли и ранены на его глазах! Перегорело нутро, словно огнём его выжгли и печать поставили: де, ты вроде живой солдат, а вроде и неживой.

Ноги ходят, руки шевелятся, а вот нутро – нет, не объяснить, чего в нём! Ну, а ежели кто спросит? Но нет, не спросит никто, у всех тягло неминуемое на душе сокрыто.

Не ускользнуло от Алексея, что мужики какие-то не такие в разговоре с ним, и он напрямую спросил:

– Ты чего, Егор Спиридонович, вроде не договариваешь чего?

Дед, поглядев на солдата, тихо сказал:

– Ты, Алексей, крепись, недели две назад надсадилась твоя Мария. Работа-то у нас, знаешь сам – мешки эти неподъёмные. Лежит Маша, и доктор приезжал, в больницу её класть велел. А она ни в какую. Говорит, дождусь Алёшеньку, а там – будь что будет.

Алексей помрачнел, а Спиридонович продолжал говорить:

– Я был в твоей избе, привозил доктора. Обычно принято в город больных с деревни возить, а тут председатель распорядился: вези, мол, доктора. Он твою Марию за работу шибко

ценит. Боялся, что как бы не растрясло её по дороге: колдобины наши извечные, лошадёнки измотанные. Меня что удивило? Обычно матери Алёшенькой называют, а тут – жена. Значит, любит. Ты, Алексей Петрович, войну какую пережил!.. Даст Бог, когда Мария тебя увидит, то обязательно на поправку пойдёт.

Оставшуюся часть пути они ехали молча. Вбежав в дом, Алексей кинулся к кровати. Прижавшись друг к дружке, муж и жена долго плакали.

Вдруг Алексей ощутил, что его спине стало теплее, видно, дочка прижалась. Обернулся он, нет дочки, и снова жадно глядел на жену. «Боже! Как же постарели мы с тобою, Маша!» – думал солдат.

Мария попыталась встать, но слабость была настолько сильной, что она снова повалилась на кровать. Стараясь держаться, не плакать, говорила мужу:

– Алёшенька! Видишь, какая я. На стол бы чего собрать.

– Ты, Маша, не печалься, если я жив остался, а на стол соберу, я, чай, не без рук.

Из вещмешка Алексей достал солдатскую фляжку, две банки тушёнки, сала да хлеба. Слезил в погреб, набрал в железную миску квашеной капусты, а в другую миску наложил солёных грибов. Вернулся в дом.

Маша, пока Алексей лазил в погреб, решила держать себя, не плакать, хотя давалось ей это с трудом.

– Алёша! Там в печи картошки возьми.

Солдат налил себе спирта в железную кружку, Мария пить и есть отказалась. Утром Алексей Петрович уговорил председателя отвезти жену в город. Ещё неделю пролежала Мария в городе и всё-таки померла.

Где была дочь Анна, отец не ведал. Знал он от Марии, что подалась она в город, а где она и что с ней случилось, толком никто не знал.

Эх ты, солдат, солдат! Говорили же тебе на селе люди, радоваться надо, что жив остался, а тут вон какая оказия! Жена умерла, да и дочка неведомо где. После похорон поразило фронтовика то, как живут люди его села – впроголодь. На фронте хоть каждую минуту можно было погибнуть, но кормили вполне терпимо. Упросил он тогда председателя не торопить его выходить на работу, надо, мол, отдышаться после войны. А сам достал из амбара старые сети, починил их, связал ещё две новых и отправился на реку.

Он сам разносил в каждый дом рыбу. Повеселели от этого земляки, ведь на селе-то одни вдовы почти остались, а тут свежая рыбёшка, главное, дети досыта поедят. И потихоньку стал народ и работать повеселее.

Видя эдакое, председатель Сергей Андреевич дал Алексею лошадь с телегой. А по осени Алексей Петрович подался в лес, и вскоре обеспечил мясом всё село, застрелив двух лосей и медведя. Птица в расчёт не принималась, много её было, и в каждом доме села отведали глухаря да рябчика.

Деревенские люди шибко ценили труд фронтовика и при каждой с ним встрече кланялись в ноги. Алексей Петрович не любил этого и тут же останавливал земляков, говорил им, не надо, мол, этого делать! У вас мужья в войну погибли, а жрать-то всем надобно.

Прошло какое-то время, и люди зажили получше. Сам Алексей Петрович стал работать на тракторе. И снова мысли одолевали его, как на фронте. Вспоминал он Марию, как целовались с ней и боялись, что кто-нибудь их заметит. А потом убегали к скирде сена, прятались там и снова целовались, миловались...

Прошло пять лет, и все эти годы Алексей Петрович искал свою дочь Анну, спрашивал в городе о ней, но никто ничего не знал. Заметно и раньше определённого жизнью срока он постарел.

Было воскресенье, Алексей Петрович полдня ремонтировал трактор, да вот прихватила спина, никак не разогнуться. Пошёл домой, затопил баню, хотя далось это через сильные боли. Вернулся в дом, достал из печи суп, сидел да ел деревянной ложкой своё одинокое хлёбово.

Вдруг что-то скрипнуло на крыльце, ещё мгновение – и дверь отворилась. В дом зашла дочка Анна, а с нею два дитя. Анна, поперхнувшись, сказала:

– Здравствуй, отец! Примешь непутёвую дочь?!

Алексей Петрович, поднявшись с лавочки, подошёл к дочери, заплакал и с дрожью в голосе сказал:

– Да ты что, дочка, как же не принять-то? Маша бы это не одобрила. А это детки твои?

Рядышком с матерью стояли двое детей. Один был мальчик, другая девочка, и одеты были они очень уж плохонько. На мальчике было ношеное-переношеное пальтишко и на девочке тоже. Обуты их маленькие ножонки были в лапти. Алексей Петрович быстро справился с собою и скомандовал:

– А ну-ка, мои хорошие, раздевайся, а я тут супу спроворил да баню истопил. Ты, дочка, слазь-ка в погреб и достань рыбки солёной да бутылочку. У меня-то, вишь, спину прихватило, дыху нет.

Дочь, раздевая детей, спросила:

– А как же ты, отец, баню с такой спиной истопил?

– Дак тут, в деревне, одно лекарство – баня.

Анна вымыла детей в бане и сама попарилась. У Алексея совсем заклинило спину, и дочь прямо сказала:

– Отец, я тебя сама попарю и помою.

Алексей Петрович не стал отговариваться, потому что это ему было очень приятно, и он снова заплакал.

После бани, когда дети уже были накормлены и уложены спать, Анна рассказала отцу свою историю:

– Приехал к нам один киномеханик в село. Полюбила я его, и всё, в общем-то, сразу и случилось. Мама наша была в передовиках, и она не одобрила мой выбор. Я и убежала с ним. Поначалу мы немного пожили в городе, а потом он нас в свою деревню увёз. Родила я Стёпку, а Николай пил всё время. Я думала уходить от него, но мама его уговорила не делать этого. А тут я снова забеременела. Нервы у Николая совсем сдали, тогда-то ушла я от него. А куда идти-то, думаю. От людей случайно узнала, что мама умерла, а ты один живёшь. Если не нужны мы тебе, мы уйдём, ты нам только скажи!

Алексей Петрович, пока говорила дочь, всё вспоминал, как бережно и ласково мыла его дочь в бане, и видел он украдкой слёзы на глазах дочери, но сдержался и ничего не сказал.

– Ты, Анна, с детишками своими – самое дорогое для меня. А что мне одному? Придётся домой, наварю картошки, а есть-то и неохота, просто заставляешь себя. А без еды с трактором не справишься. Только вот не понимал я, почему на похороны матери ты не приехала, но теперь мне всё понятно. Да я так, дочка, и думал, что ты об этом ничего не знаешь. Разве бы ты не приехала?! У кого бы в таком случае сердце не дрогнуло?! Есть, конечно, такие люди, но их, слава богу, немного на этом свете... А мы, дочка, свою корову заведём, мне-то одному ни к чему это было, а детишек-то надобно поить молоком, и они тогда справные будут. Я когда с войны вернулся, Маша держала корову. Вижу, люди на селе все голодные. Сама знаешь, всё на фронт, всё для Победы! Ну, словом, когда похоронил Машу, заколол я корову и раздал людям мясо.

Дочь молчала и тихо плакала, а потом сказала:

– Ты, отец, у меня святой!

Алексей, налив себе водки, выпил, хрустнул солёным огурцом, сказал:

– Да ты что, дочка, какой я святой-то?! наших фронтовиков-то побил на войне, а живых по пальцам быстро сосчитаешь, сколько их, целёхоньких, домой вернулось. Ванька без ноги, Авдей без руки, Николай без ног, а Володя Курочкин лежит да уже и не встаёт, ослабел совсем. А после войны трудно человеку подняться – по себе знаю.

Утром, когда Алексей проснулся, он тут же вспомнил, что было вчера. А дочка уже доставала из печи в чугуне кашу со словами:

– Садись, тятя, позавтракаем.

Дочь с отцом поели одни, потому что дети ещё крепко спали.

– Ну, на работу я нынче не ходок, так и не отпустило спину, полезу-ка я, дочка, на печь, греть спину.

Нагрев на печи спину, Алексей почувствовал, что боль в поясницу опустилась, и стало болеть пуще прежнего.

– Дочка, помоги мне слезть с печи, уж очень болит сильно.

Сев на лавку, сделал он два глотка водки, затем ещё налил и выпил. Но боль его никак не отпускала. Тут и проснулись его внуки да с босыми ножонками давай бегать по избе. Алексей открыл столешницу, вытащил две конфетки и дал внукам, дети радостно закричали:

– Ура! Дед конфет дал!

Всю эту картину увидел зашедший в дом председатель колхоза Сергей Андреевич:

– Ты чего, Алексей, захворал небось? Ежели захворал, иди лечись. Сам на трактор сяду, чего сделаешь, у нас ведь вечная страда.

Алексей налил председателю и себе водки:

– Понимаешь, дорогой Андреевич, радость у меня.

Председатель выпил и быстро ушёл, сославшись на дела. Алексей, глядя на босые ножонки внуков, велел дочке, чтобы они надели лапти. Потом разглядел он эти лапти да ужаснулся. Их и выкинуть не жалко нисколько, потому что там дыра на дыре и дырой управляет.

Через три дня, когда спину понемногу стало отпускать, Алексей Петрович съездил на подводе в город и купил там для внучат ботинки. Он брал на размер или два больше, чтобы с запасом было и чтобы с шерстяным носком их можно было носить. Тогда его дорогие сердцу внучата простужаться не будут, думал фронтовик.

Приехав домой, сел на лавку, достал из вещмешка две пары ботинок и подозвал внуков. Что тут началось! Они, натянув на свои босые ножки ботинки, стали носиться по избе и радостно кричать. Внук Стёпка:

– Дед нам ботинки купил!!! Ура! Я в них на войну пойду фашистов бить!

Алексей Петрович говорил внуку:

– Да ты что, сердешный! Ведь разбили мы их, фашистов-то, слава богу!

Внучка Дуня кричала:

– А у меня ноги теперь не будут мёрзнуть! Ура!

Дочь Анна, глядя на всё это, уронила слёзы. Отец подозвал её к себе поближе:

– Я, дочка, думал долго, что же тебе купить.

Он вышел на крыльцо дома, взял мешок и занёс его в дом.

– Вот ведь какой я стал, гостинец тебе привёз, да на крыльце оставил – дырявая моя башка!

Отец вытащил из большого мешка новую телогрейку и новые ботинки:

– Это тебе. Ты примерь, а то переживаю, угадал ли с размером.

Анна примерила ботинки с телогрейкой, всё оказалось впору, только ботинки были немного великоваты, но это не страшно.

Затем Алексей достал из вещмешка цветастый платок:

– На, дочка, носи на здоровье.

Анна обняла отца и, плача, сказала:

– Тятя! Ты вот говоришь, не святой ты, а для меня ты – святой!

Алексей Петрович в этот момент вспомнил, как, вернувшись с войны, он обнял свою Машеньку, и показалось ему, что дочка сзади прильнула к его спине.

Ну а теперь-то и впрямь дочка обнимает. Не объяснишь эту жизнь...

## Корзина с черникой для тяти

У Дуняши отец сидел в изоляторе.

От односельчан узнала, что приехал в колхоз какой-то высокий начальник, ругал председателя, батя её родненький шофёром председателевым был. Почитай одна рама была, а не машина, фронтвые друзья помогли, эх, и долго отец провозился, не спал толком, за сердце хватался. И вот машина на ходу, после председателя упрекало районное начальство, де, на персональной машине с личным шофёром ездит.

Что толком случилось, никто не знал, но наверняка было ясно, что дал в морду тому начальнику ейный тятя. «Одни-одинёшеньки мы с папкой-то на божем свете, а я, как дура, за черникой в лес убегла, чуяла, чуяла нутром, не надо идти!.. Да, поди ж, останови меня».

Слёзы капали и не спрашивали на то разрешения у Дуни, капать им или нет. И, сколь ни живи человек на земле, именно память живёт с человеком, и никуда от неё не деться, ежели в разуме находишься.

Пока шла до дому, вспомнила маму, Татьяну Андрияновну, как голодали. В сорок четвёртом это было. Холодной, промозглой осенью, убегла маманя на работу в штопаной-перештопанной телогрейке. Дуня в тот день натомила картошки в чугуне, в избе было прохладно, сэкономили дрова. Под вечер пришла мама, зашла в избу, с трудом скинула с себя телогрейку. К картошке не притронулась, легла, а к утру померла.

Председатель Степан Егорович сам гроб сделал, да всё винился перед Дуней, де, прости, что доски не струганы, мужиков нет, а он один. Состругал бы, да рука совсем отнялась. Видела Дуняша, как мается председатель с одной рабочей рукою с гробом энтим, и думала, вот церкви отменили, а Егорович наш для нас святой и есть.

В слякоть осеннюю повезли на телеге гроб, а погост-то на горе крутой, лошадь чуть было не упала, не может вытянуть, так бабы всем миром толкали энту телегу. Похоронили, а чем поминать, даже браги нет. Егорович спирту принёс, где добыл, неведомо, с квашеной капустой, солёными грибами помянули.

Ох, грибочки энти, досталось тоды председателю. Приехал высокий начальник, а Егорович всех в лес отпустил, чтобы грибов набрал люд. Начальник орёт, а Кочев ему в ответ:

– Хошь, растреливай, бабёнкам моим сердешным есть нечего. Не веришь, пошли в любую избу. Мы что, дети маются голодом. Не переживай, уберём хлеб, ни одного зёрнышка в поле не оставим. Они, главно дело, в обмороки взялись падать, пусть грибочков да ягодок отведают, всё одно, вишь дождик поливат.

\* \* \*

Да слабые какие все были, ровно по глоточку спирта, хлебок один, а все опьянели, опьянеешь тут, изработанные клячи, индо спасу нет. Лошадидохнут, а тут человек. Тятенка с бойни окаянной хворый вернулся, худющий, индо щепка. Десять банок тушёнки припёр, как донёс, ежели сам такой, непонятно, энтю, по всему видать, бабушкина иконка Николы Угодника спасла его, медная она, с два спичечных коробка будет, не вымолвить, не вышептать словами энтю дело, тут наша Русь крепко обозначена.

Теперь засадят в тюрьму, мы простые люди, заступ за нас никто не примет. А отец войну прошёл, весь израненный воротился, кашляет по ночам, спасу нет, отдышка мучает, сколь раз баяла, брось курить, в ответ одно тростит: «Нет, дочка, не отымай радость, у меня две радости, ты да табак, остальное всё жизнь выжгла».

Так, вся в слезах, с корзиной, полной черники, и дошла Евдокия до своего полисадника. Дед Еремей окликнул её:

– Постой, девка! Подь-ка сюды. Понеже.

Дуня подошла не спеша к деду, силы оставили девушку напрочь, поставила на землю корзину с ягодой, черника же переливалась на солнце красиво.

Дед, поглядев на девушку, а после на чернику, тихо, тихо заговорил:

– Гляди, милая Дуняша, какая приглядна картина получатся, черника-то твоя в корзине вона как переливается, а ведь это берёзка твоя за палисадом шелестит листочками от ветра-ветровича, солнечные зайчишки проникают в твою корзинку, вот перелив и сподобился быть, красно глядеть.

Дед помолчал, словно вмиг постарев:

– Я ить, девонька, видал всё.

Дуня встрепенулась:

– Как видал? Сказывай, дедулька, сказывай, родненький, скорее:

– А чё, твой Силантий Спиридонович сама знашь, какой. Хошь и хворый совсем с войны вернулся, а ведь не выдюжит, ежели ково несправедливо забидят. На лобно место сам себя определил за правду, м-да.

Старик помолчал немного, собираясь мыслями, как бы помягче новость передать: тяжело девоньке, ох, тяжело. Это не лошадыю любоваться, как она из реки воду пьёт, тут у самого поджилки трясутся, нет, не от страха, отбоялся ужо, от старости и переживаний трясутся.

\* \* \*

– Начальник тот хошь и молодой, лет за тридцать, наверно, комсомолом ране руководил, вот и выдвинули на должность большую, а энтот начальник уж пузатый, много ли с войны лет прошло, десять лет, а они уж пуза наели. С людьми надобно уметь баять, через это жизнь ход даёт. А энтот, гусь стоеросовый, стоит, орёт на Егорыча, де, колхоз по сдаче мяса государству плохо работает, так и баял: «Ни хрена не работаете, лентяи, дармоеды». Ругал председателя и за то, что на совещания ихние не ездит.

А коли ему, сердешному, всё за нас погибат! Степан Егорович ему в ответ: мы, мол, пока с мясом не сможем дать план, зато по зерну перевыполнили, рожь как всегда, мол, выручат.

А тот пузан снова заорал: де, чё, мол, про прошлый год поминаешь, есть у него информация, что по ночам колхозники овец воруют. Степан Егорович ему в сердцах и ответил: «Мы войну страшенную пережили, сколь похоронили, не на войне, а здесь, в родном селе, от голода, деда, дети, женщины, старухи помирали, я для детишек гробики сколачивал когда, думал, сам сейчас в гроб улягусь, надсада, как сердце не лопнуло, всё на фронт. Погост, разросшийся крестами да звёздами, вот где доказательство наших подвигов и скорбей. Надо же, по заповеди Божьей баю, в скорби жизнь наша. Да, ежели и взаправду кто украл овцу, хотя это надо проверить, то не от хорошей жизни. По мне так я бы в каждый дом по овце отдал, пусть поедят, сердешные. Нет мочи глядеть, они, колхозники, спасли солдат от голода, а сами погибали. А теперь сымай с должности, но я тебе правду сказал. Технику по любимчикам распределяете, эх, да о чём с тобою толковать! Ведь мать тебя на свет божий рожала, а ты словно вражина какая».

Тоды пузатый тот начальник говорит: де, вы все, председатели, одну песенку поёте, а работать не хотите.

У Егоровича нашего слёзы из глаз покатались, да чего греха таить, я и сам, слыша такое, обронил слезу, дыхание напират да напират, кабы не околеть тут, думаю, еле отудбил.

Тут твой отец Силантий Спиридонович подошёл к тому грозному начальнику да по роже его жогнул. Тот на землю завалился, очухался и давай орать, что посадит, а отец твой возьми да ишшо раз огоревал его по морде отъеденной. Пузан снова завалился.

Контора рядом, позвонил, приехали архаровцы, пять километров на машине ехать, рази долго. Ты вот к полудню корзину ягодок набрала, а батю твою за правду забрали.

Бабы наши орали на милиционеров, не пужались, коли тятю твою забирали. Заарестовали, окаянные, приказ, етит твою. Главно дело, молоденькие милиционеры-то, а бабы наши орут, вы-де не воевали! За Силантия заступ приняли. Молодцы наши бабоньки, как таких не любить!

...Дуне было уже восемнадцать лет, на днях на сенокосе правила косу и порезала себе сильно пальцы, да так, что даже возили в район на телеге. Но деревенскому человеку сидеть дома невысказано, подумала: «Хошь с одной рукой, да к полудню наберу ягоду, тятя сердешный хвораёт, а я ему с молочком дам, пусть хлебаёт пользительное ёдово».

Глядя на мокрую, перебинтованную руку девушки, дед горестно вздохнул, от росы намочила бинты, с одной рукой испробуй набери ягоду, не кажинный сможет, ух, молодчиночка. Трёхжильный хребёт у нас, деревенских. Но тут в его глазах что-то переменялось, он быстро стал говорить Дуняше:

– Стало быть, так. У меня в районе сын в милиции сержантом, он шибко идейный, но испробую я его уговорить, передать еду для бати твою. Ну, давай, девонька, ступай домой, спроворь для тяти чево, а я иду коня запрягать.

Евдокия метнулась в избу, позабыв про корзину с ягодой. Когда доставала из погреба солёное сало, глядела на камни, которыми были обложены стены погреба. Ох, тятенька, родненький, сердешный, потаскал же ты эти каменя из реки, измаялся. Мама всё кваском тебя поила, любил ты её ядрёный квас, да кто ж не любит. Да то ишло до войны было, сильный тогда отец был.

Положила на полотенце домашний хлеб, с десяток яиц. Дуня натомила ещё вчера, взяла с собой в лес пару яиц, не съела, с ними и вернулась, теперь бережно положила и эти два яичка к общей кучке, налила в большую бутылку молока.

На полотенечке этом она вышивала узор, на котором был изображён петух, красно получился, тятя хвалил. Почему выбрала этот образ? Да потому, что будит петушок всю деревню утречком, де, подымайтесь, люди, не ленитесь, работайте, тоды и еда в доме будет.

Но теперь было не до весёлых мыслей, лишь мельком мысль эта про петуха зашла в голову, это Боженка её спасает, чтобы с ума не сойти. Помолилась на образа. Как там тятя сердешный?.. Озяб небось, казематы окаянные. Надо же, слово какое – «сердешный». Вспомнила Дуня и о том, что детей в их деревне, у которых погибли отцы на войне, называли люди «сердешники».

\* \* \*

Дед Еремей Евграфович к этому времени уже подъехал к дому Дуни и обратил внимание, что корзина с ягодой стоит прямо на дороге. А подле корзины стоит соседский мальчонка, махонький совсем, но успел зачерпнуть ручонкой ягоду, весь рот чернющий был, подбежала маманя его да по заднему месту шлёпнула, де, не бери чужого. Деду сказала: «Простите нас». Еремей махнул рукой. Выбежала Дуня, передала передачу деду и, глядя на корзину, ничуть не удивившись, что позабыла её на дороге, вдруг сказала:

– Ежели милиционеры не будут соглашаться передачку тятю передать, ты, Еремеюшка, всё одно им эту корзину с ягодой отдай. Может, с тятенькой помягше будут, чай, не звери. С Богом! С Пресвятой Богородицей! Со всеми святыми угодниками! Езжай!

Пять километров до района да на лошади, путь недолгий. Еремей думал в дороге, как он будет упрашивать сына Данилу передать заветную передачку. Ежели дело не выйдет, Дуня как бы не погибла, рука вон больная, а вдруг ухудшение? Ох, горе-горькое! Ежели с похмелья,

опохмелишься, и гоже на нутре деется, а тут только рази молитва поможет, чтобы сердце с душою не лопнули от надсады неминучей.

Сына дед застал дома. Зашёл в избу, поздоровался, обнял внука. Данила у него был самый младший, двадцать пять лет. Так в деревнях – старшие дети женятся, младшие рождаются на божий свет, чтоб Россия жила. Последыш был его сын, а их жальше всех, вот, видно, избаловали, идейный, ёна-матрёна, как подход найти?

Всё как есть обсказал сыну Еремей, но, как и предполагал дед, сын был идейным и отказывался передать передачку. В дом зашла жена Данилы, Пелагея, молодая, очень красивая женщина, и с порогу обратилась к деду:

– Дед! Ты для кого ягодки набрал? Черничка – моя любимая.

– Да хошь, всю забирай, только бы Данила передачу передал.

Еремей, не дождавшись окончательного ответа сына, вышел из дома. Дыху от переживаний в груди не было. Сел на телегу и медленно дрожащими руками скручивал самокрутку.

Данила вышел из дома, подошёл к отцу:

– Ладно, передам я твою передачку, только корзину с ягодой заберу себе, Пелагею утешить.

Еремей сидел на телеге, сильно сгорбившись, он был ветхим стариком, пережившим на своём веку страшные войны, и всё дивился про себя: как это он ещё жив? Сын вдруг понял, что отец его – уже дряхлый старик, и Данила взволновано спросил отца:

– Ты, отец, захворал, што ли?

Старик достал тряпошный мешочек, насыпал в него чернику и тихо сказал сыну:

– Я немного убавил, хватит вам, только ты, сынок, Силантию-то передай и чернички. Он хворый, войну прошёл. Фронтовик он, понимать надо. Ты скажи там своим сотоваришам, чтобы не забижали яво. Хошь, на колени ботнусь, сынушка, перед тобой! Я понимаю, ты идейнай, а Силантий-то четыре года фашиста бил. Теперя точно посадят, в энтот сомненья нет, эх.

Данила изменившимся голосом, с изменившимся лицом сказал отцу:

– Эх, не утерпел. Не надо бы дяде Силантию в морду-то давать начальнику. Он жирный, бегат, чаво ему станет. Я помню, маленький был, нам дядя Силантий дудочки ножом вырезал, бегали всё по деревне, радовались.

Дед продолжал тихо говорить сыну:

– У тебя, сынок, вона морда какая больша да красна, ты помене ешь, тоды в норму войдёшь. Ране посты люди не просто так блюли, для здоровья и укрепа духа, и молитвы главное дело.

...Когда в изоляторе Силантий получил передачу, отведал он и чернички. Пока ел, вдруг сказал:

– Это, едрёна корень, эликсир радости от дочки. Пользительна ягодка-то.

Председателя Степана Егоровича Кочева вскорости сняли с должности, на совещании так шарахнули, что лежал в больнице целый месяц. На селе все его жалели. С новым присланным председателем колхозные дела пошли намного хуже. Из тюрьмы Силантий не вернулся...

Евдокия вышла замуж и прожила жизнь более-менее счастливо, но всегда, когда вспоминала роднёного тятеньку, в глазах стояла корзина с черникой.

## Васька знает два языка

Идёт семья по деревне. Молодой красивый мужик Иван с женою Марусей, и двумя маленькими сыновьями. Старшему, Матвейке, пять лет, Елизарке – четыре. Отец идёт быстро, жена Маруся поспешает за мужем, а дети их за мамины руки крепко держатся, словно боятся, что бросит их мама. Да разве ж взбредёт в голову матери бросить своих детей, а поди ж боятся чего-то сыночки. Улыбка мамина, два-три тёплых слова и нет печали у молодого племени.

Рядышком стояли дома Ивана и Маруси, сразу после службы в армии и сыграли свадьбу, так уж оно в России ведётся. Семья подходит к дому, там живёт дед Иван. И к нему, стало быть, в гости, приехал из районного центра его сын Ваня. Как родились один за другим на божий свет сыновья, так и перестал сын Иван называть отца отцом, появились другие слова, то ласково скажет «тятя», то «дед». Деда Ивана это вовсе не злило, что подделаешь, дед – так дед, оно ведь и взаправду дед. И вот сидит Савельевич на лавочке, поджидает сына, невестку и внуков. И, как только подойдут к резному крыльцу дорогие гости, Иван Савельевич, побрятев, скажет:

– Вот едритвою, внуки пожаловали.

А внуки уж облепили деда. Матвейка кричит:

– Дед! А у тебя лавочка волшебная, мы пока добирались, устали, знаешь, как хотели посидеть на твоей лавочке!

Елизарка молчит. Тогда дед Иван достаёт из широкого кармана самодельную дудочку и даёт Елизарке. Тот поглядел, подержал в руках и дальше глядит на деда. Савельевич ласково говорит:

– Маленький ты ишшо. Я для тебя почитай цельных полдня дудочку энту делал. А как ты хотел? В сад колхозный сходил, веточку вырезал, пока добирался обратно – то, отдышка, язви её, замаяла. Вот каки дела, брат. Гляди вот, сынок.

Иван Савельевич подул в дудочку, она засвистела. Дед давай пальцами дырочки зажимать, и вот те на, мелодия полилась по деревне. Закончив играть мелодию, дед бережно отдал дудочку внуку. Елизарка взял дудочку, пробует дудеть, но выходит у него совсем некудышно. Дед вздыхает:

– Ничё сынок, обучу, подрасти только, сердешный. Я, брат, на лесозаготовках во время войны научился дудочки энти делать, от голода и тоски спасался не токмо молитовкой к Богу, а ишшо и мелодией, которая дудочка даёт. Я ить брат слух имею, а вот на гармони играть не обучился. Жалею. Неколи было. Наша жизнь была одна надсада. Потом добавляет к сказанному:

– Смирной ты ишшо.

Дед Иван курит газетную самокрутку, сильно кашляет, бросает, и топчет резиновой калошей окурки. Ругается:

– Ну, вот чего закуриваю, коли сын Ваньша приезжат, волнуясь едритвою колено. А потом заснуть не могу, сердце стучит, индо спасу нет. Сколь раз говорил, не буду курить, и ведь не курю. Но Ваня с внучатами приедет, и ну, сызнова пыхтеть начинаю, дурак.

Любуется дед Иван резным крыльцом. Гордится собою. Никто ему не показывал, как узоры плотницкие мастерить, да и некому было, всех мужиков на войне убили фашисты. И ему, сердешному, не миновать бы войны, если бы не отдышка с детства. Так на лесозаготовках всю войну и отробил. Думал теперь Иван так: «Вот помру, внучата будут приезжать к дочери моей, Дуне, сюда, а крылечко-то о старинном будет им напоминать. Велика наша история едритвою. Так бы мужиков поболее было после войны, раненные вернулись трое из их деревни, да рази пожили бы, еле душа в теле. Такое видывали, страх. От болезней вскорости померли. Поминали брагой слабенькой, вовсе в голову не ударяла, вот времечко было. Пожрать досыта мечтали. Ой, внучаты мои, внучаты.

Матвейке отец помогает вытащить гармонь на крыльцо. Дед завидел это и стал ругать их:

– Тащите обратно, рано ему, время придёт – научится. А то, ироды, струмент спортите. Я ж зарабатываю гармошкой-то. Сам играть не умею, а как свадьба у кого, просят у меня гармошку, бутылку дают или на свадьбу приглашают.

Напротив дом Иванковых. В окно за дедом Иваном и внуками наблюдает приехавший из города к бабушке Татьяне Вася. Он постарше Матвейки и Елизарки на три года. Васька берёт ржавое колесо от велосипеда и начинает его со всей силы его пускать по накатанной деревенской дороге, колесо катится довольно далеко. Матвейка с Елизаркой тут как тут. Матвейка смело просит:

– Чё, городской, приехал. Дай колесо покатать?

Что Васька приехал из далёкого сибирского города, который стоит на реке Ангаре, Матвейка услышал от деда Ивана. Васька отдал колесо Матвейке, и тот с радостью стал гонять колесо по деревне. Вася поглядел на деревенскую улицу и вдруг остолбенел, ещё совсем недавно они с деревенскими ребятами смотрели по телевизору фильм «Чапаев». Ребятишек в соседский дом набралась целая изба, а крику-то было, когда Чапай на коне нёсся. А тут прямо по улице такая же конница летит, только Чапаева в папахе с саблей нет. Дед Иван кричит:

– Быстро отбегайте в сторону, пострелята, снесут ведь! Отбегают к забору Васька, Матвейка и Елизарка, а мимо них проносятся большие красивые кони с всадниками. Васька узнаёт одного, это Вовка из соседнего дома, но он уже совсем большой.

Васька поначалу, когда увидел всадников, закричал:

– Чапаев с конницей прут!

Теперь же, когда конница промчалась мимо, Васька негромко, словно расстроился, сказал:

– Нет, это не Чапаев.

Дед Иван, стоявший рядышком с ребятами, улыбнувшись, охрипшим голосом баял:

– Не Чапай, верно. А красиво промчались наши ребята, эх, едритвою, прости господи.

Так прошла пятница. Только Васька совсем не следил, какой день нынче, и не ведал он, что такая льгота только в его возрасте дана. Наступила суббота. Бабушка Татьяна достала из русской печи чугунок с пшённой кашей, поверх каши лежали яички прямо в скорлупе. Васька очистил одно яичко, зачерпнул прямо из чугунка большой деревянной ложкой каши, от которой шёл духмяный пар по всей избе, и начал охотно есть. Бабушка запричитала:

– Ох, сынок, какой бледненький с города-то приехал, не кормят вас там, наверно. Мамка твоя всё на работе.

Васька ел и успокаивал бабушку:

– Нет, бабушка, мы с мамой в бараке живём, и еда у нас есть. Мама работает на большом бетонном заводе, а еды в городе много. Я в школе котлеты с какао люблю.

Татьяна Ивановна вдохнула, перекрестилась.

– Ну, вот и слава богу. Ныне, сынок, суббота, баня на деревне. Пойду на реку, надо воды натаскать, пойдём со мной, всё веселее тебе будет.

Вышел Вася на крыльцо, полюбовался на резные узоры, сел и увидел маленького петушка, который пытался кукарекать, только получалось у него ещё несмело и слабенько. Тогда Васька сам кукарекнул, и по всей деревне, заслышав Васькино пение, запели петухи. Затем всё поутихло. Тогда Васька снова запел по петушину, и снова пошло по деревне петушиное пение. Напротив сидел дед Иван, он всё это время наблюдал за Васей и наконец не выдержал, ударил себя по коленке и сказал:

– Вот едритвою, Васька. По-петушину, стало быть, баять научился.

А на деревне меж тем началось светопреставление. Вся деревня от мала до велика ожила. Сама деревня стояла на довольно большой возвышенности, внизу метрах в ста текла речка, возле речки были бани. Десятки старух с десятками ребяташек таскали воду в бани. Ребятишки отыскивали под камнями лягушек и бросали их в речку, тут же и в футбол играли. Протопив

бани бабушки старались быстрее намыть многочисленную ребятню, потом мылись сами. У Васькиной бабушки Тани бани не было. После войны ещё немного подюжила, и вся сгнила. Строить новую некому было, муж на войне проклятушкой погиб, а дети малые ещё были, а как повзросли, в город на Ангаре подались. Но пока баня дюжила, многие деревенские мылись в ней. И теперь бабушку Таню приглашали к себе все, а Татьяна Ивановна по привычке не только к тому, кто пригласил, воды поможет натаскать, а ещё и другим поможет, такова уж была она. Помогали друг дружке в деревне многие. В этот раз дед Иван Савельевич так и сказал:

– Ты, Татьяна, никуда не ходи, моя баня всех ближе, сразу под горой. Вот мои Ваня с Марусей и ребятишками помогут, и вы с Васькой ступайте. Я жару не люблю, сама знаешь, отдышка у меня, я после всех обкачусь.

Татьяна Ивановна вручила внуку полотенце и сказала:

– Сынок, ступай к бане деда Ивана, знаешь поди, где она. А я скоро приду.

Васька прошёл по деревне, свернул в проулок, спустился с горы. Вдоль речки стояло много бань, и вот она – баня деда Ивана. Подошёл к бане, открыл дверь и обомлел. Перед ним стояла совсем без одежды тётя Маруся. Васька, испугавшись, быстро закрыл дверь предбанника. Тётя Маруся сказала:

– Вася! Подожди маненько, мне ещё надо Матвейку с Елизаркой одеть.

Васька стоял и думал, какая красивая тётя Маруся. А кругом, до самой речки и дальше, открывалась Васькиному взору картина разнотравья, красота мира, Богом данная человеку. Вот Васька видит дядю Васю, который насадил полную телегу ребятишек и катает их вдоль речки. Ребятня галдит, конь не торопясь везёт тяжёлый груз. Дядя Вася, мужичок маленького роста, а детей у него десять, он матерно ругается, а в душе добрый. Тётя Маруся выходит из бани вся разруганная, красивая, с детьми Матвейкой и Елизаркой. Матвейка тут же Ваське кричит:

– Чё, городской в баню пошёл, а кто тебя веником будет хлестать?

Красивая Тётя Маруся добродушно говорит старшему сынишке:

– Матвейка! Сейчас бабушка Таня придёт, найдут они применение венику-то. Не печалься, сынок.

После бани Васька сидит за столом, наливает из большого самовара чай, пьёт вприкуску с кирпичным сахаром. Сахар этот крепок, бабушка его с помощью ножа и молотка крошит. Вдруг стук в дверь, бабушка громко бает:

– Ну, чего стучать, заходите, добрые люди.

Дверь открывается, на пороге стоит какая-то странная, то ли девушка, то ли женщина, не понять, какого возраста человек, и Васька робеет. Бабушка даёт несколько кирпичиков сахару гостю, та чего-то мычит, кладёт сахар в карман фартука, кланяется и быстро уходит. Заметив робеющего внука, бабушка добродушно говорит:

– Чего напужался, Василий? Это наша деревенская, Нюшкой зовут, умишка вот Бог не дал, а так-то она добрая. С её стороны худа не будет. Божий человек это, сынок, не пужайся. Эх, и любит она сахарок-то. А чё его не дать, войны, слава богу, нет. Таких людей надобно жалеть. Ох, Господи! Всех надобно жалеть.

На следующей неделе Васька с мамой поехали в районный центр на автобусе. Мама ходит с сыном по магазинам, но Ваське это не совсем нравится, он хочет есть. Мама Настя занимает очередь в столовую. Кругом множество грузовых машин, народу полным-полно, из столовой распространяется дух вкусной еды, но очередь настолько большая, что люди стоят даже на улице. Васька смотрит на дома через дорогу, они ему кажутся какими-то чёрными, не такими, как в их деревне. К вечеру мама с сыном добираются до родной деревни. Бабушка наливает внуку большую кружку молока, и Васька всю её выпивает. Парное молоко Васька любит.

Бабушка Таня говорит с дочкой:

– А чё там в районе-то, делать там нечего. В столовой есть, прости господи, разве это еда. И тут же обращается в внуку: – Съешь, сынок, яйцо-то, чай, легче на нутре-то станет.

Васька съедает сразу два яйца, хлебает большой деревянной ложкой самый вкусный на свете бабушкин суп и говорит:

– Бабушка! А у тебя самый вкусный! Не зря дядя Серёжа когда к тебе приезжает, он только суп ест.

Татьяна Ивановна немного злится:

– Да ну его, готовишь, готовишь, а ему только суп подавай, и всё.

На следующий день Васька на улицу гулять не пошёл, весь день лил дождь, и гремел сильный гром. С неба по крыше дождевая вода долбила так, что Ваське было страшно. Бабушка в такие моменты крестилась и шептала, глядя на зажжённую лампадку и образа:

– Илья Пророк на колеснице едет. Прости, Господи, нас, грешных, и заступи.

В избе погас свет, и стало совсем страшно. Васька глядел на лампадку и шептал:

– Хоть бы дождик закончился.

Перед дождём мама Настя успела сходить в лес и насобирать целую корзину маслят. Теперь в чугуне была наварена картошка, нажарены на большущей сковородке маслята с луком, был приглашён в гости дядя Вася, который был родным братом бабушки Тани. Все ели вкусную еду, и дядя Вася, выпив рюмочки две водки, рассказывал:

– На войне городок мы один брали, а немцы бомбят и бомбят. Бомбы эти окаянные в реку-то и попадают. Рыбины большие стали всплывать, наши солдаты начали доставать рыбин этих, некоторые совсем открыто, и посекали их пулемётными очередями. Видишь, любители рыбалки были, не выдержали, что, де, добро пропадает. И жизни лишились. Ох, война.

Дядя Вася – рослый, постаревший раньше времени мужик. Сын его старший сгорел во время войны в танке, жена вскоре померла, и растил он троих дочерей один. Теперь они стали давно взрослыми, одна среди них глухонемая. И у него есть внучка Анка, которая по деревне почту разносит. Дядя Вася много не пьёт водки, потому как мучает его одышка. Мама Настя очень уважает своего дядю Васю. Вообще, веселая мамка у Василька. И говорит во время беседы с дядей:

– В городе свет погас, и всё, а мы вот какой вкуснятины в русской печи сотворили.

Все смеются, и, на удивление дождь закончился, выглянуло ослепительное солнышко, Васька убежал на улицу и тут же увидел деда Ивана, а тот ему:

– Чё, Василий! Надоел дождик-то? Вот едриттвою.

Но Васька уже не слушает деда Ивана, он бежит к друзьям. Когда Васька приехал из сибирского города, то он разговаривал по-городскому, но, пожив в деревне, стал применять в разговоре, и деревенские слова. Раньше он говорил «бабушка», а теперь «баушка», «говорить», теперь «баять», но это его совсем не смущало, приехав в город, он будет разговаривать по-городскому.

Между их и соседней деревней есть огромное поле, там идут футбольные бои между сёлами всего района. И вот в один из дней состоялся один из матчей. Васька с Вовкой сидели на зелёной лужайке и смотрели серьёзную игру взрослых. В одном из острых моментов матча мяч катился в пустые ворота, но не докатился. И Вовка закричал:

– Я за такой момент и целых двадцать копеек бы не пожалел.

К Ваське подбежал друг Славка и сказал:

– Пойдём, я тебе покажу, где моя баушка похоронена.

Мальчишки поднялись в гору, подошли к церкви, где теперь было зернохранилище, зашли в ограду, и Славка показал могилку своей баушки, при этом сказав:

– Я, знаешь, как свою баушку любил, она нам всегда на пенсию свою конфет покупала.

А когда умирала, плакала.

Затем Славка подвёл Ваську к большим могилам и сказал:

– А тут то ли цари, то ли царицы или помещик с помещицей похоронены, так мне баушка баяла.

Постояв у могил, мальчишки вышли из ограды, немного спустились с горы и сели на траву. Пред их взором открылась вся футбольная баталия. Славка мечтательно проговорил:

– А зимою мы с горы на санках катаемся, жалко, ты к нам, Васька, зимою не приезжай.

На следующий день деревенские мальчишки купались в речке, ныряли с обрыва, Васька поначалу нырять боялся, но его толкнули вниз, он упал в воду и дна не достал. Ваське было страшно, но потом он уже сам нырял с обрыва. Затем мальчишки побежали в колхозный сад, нарвали там полные рубахи яблок и после купались в пруду.

Бабушки с этих яблок пекли внукам пироги.

Быстро пришло то время, когда надо было возвращаться в далёкий сибирский город. Утром приехал на бортовой машине дядя Вася по прозвищу Цадока. Откуда было такое прозвище, Васька не знал, но дядя Вася был добрым, и он сразу его полюбил. Бабушка угостила его водкой, тот закусил горячей картошкой и солёным огурцом, бабушка недавно доставала огурцы из кадушки, лазила в глубокий каменный погреб. Васька глядел на бабушку и просил её, чтобы она поскорее вылезла оттуда, говоря:

– Баушка! Ты что! Быстрее вылезь оттуда, там вон как зябко, застудишься, заболеешь. Мы уедем, кто тебя лечить-то будет?

Бабушка Таня громко смеялась от слов внука, но вскоре плакала, провожая дочку с Васькой. В кабине кто-то уже сидел. Мама Настя с сыном залезли наверх бортовой машины. Грузовая машина потихоньку тронулась по разжиженной деревенской дороге после дождя. За машиной бежала целая ватага деревенских друзей Васьки, кричали:

– Приезжай, городской! Приезжай, Васька! Приезжай, Василёк! Не забывай нас!

Васька глядел на друзей и махал им рукой. Ему вдруг вспомнились холодные сибирские метели, их с мамой холодный барак, сибирские друзья. Путь до сибирского города лежал по железной дороге длиною в пять тысяч километров.

Васька хоть и учится во втором классе, а уже знает два языка: один – городской, другой – деревенский. У него есть деревенские друзья и друзья сибирские.

Какая большая наша страна, Россия, и в ней, в этой самой большой стране, живёт Вася-Василёк...

## Баян замёрз

Жил старый баян на белом, божем, свете. Нет. Он, знамо дело, не сразу старым стал, был и молодым. Из деталек разных на заводе собирался. Изготовили его люди наши сердобольные не только от того, что зарплату за это получили. Все знали, что для радости народной инструмент этот создан, а стало быть, дело это ответственное и серьёзное. А детальки эти меж собой быстро подружились. Один коллектив, и, не работай одна кнопочка баянная, уже не хватает её, сердешной, в общем хороводе звука. Ох, как не хватает!.. Но это было, когда состарился баян. Завсегда у стариков хворобы.

Но на ту пору был большой чёрный баян совсем молоденький. Купил новый баян учитель по пению Семён Петрович Башмаков, потому как решил не только на пианино в детском садике детям играть, а и к русскому баяну детишек с малолетства приучать, чтобы чуяли дух русский. И вот уже льются звуки баянные по стенам старенького деревянного садика, мелодией по-доброму завораживают. Детишки по наказу воспитателей, ровненько выправив спиночки, сидят на маленьких деревянных стульчиках и поют: «Ручейки весенние зазвенели весело, потому что мамочке мы запели песенку» или «То берёзка, то рябина, куст ракиты над рекой: Край родной навек любимый, где найдёшь ещё такой!».

В садике вкусно-превкусно пахнет едой, дети глядят на большой баян, дивятся и рады этому. Вот и обед настал, а на обед – винегрет с радующим глаз зелёньким горошком, суп с сухариками, запеканка картофельная с мясом, кисель с булочкой. С запеканкой была история, дети не хотели её есть из-за того, что там был лук, тогда Башмаков говорил детям так:

– Слушайте, дети! Без лука у человека страшная болезнь, цинга, появляется. Сколько матросов в дальних плаваниях огибло из-за нехватки лука. Про Витуса Беринга вы еще, конечно, не слыхали! И на войне лук – первый целитель. В народе поговорка есть: «Лук от семи недугов». Болеть, ребятишки, плохо. А ежели все заболее, кто Родину защищать будет? Вы, мальчишки, когда мы состаримся, первыми защитниками будете, а девочки – санитарками.

А про то, что означает поговорка «Ложка дорога к обеду», я вам после баять буду. И тут Петрович для воспитателей добавлял:

– Вы не думайте, я не безграмотный какой, обучение прошёл, как все, а деревенские, русские слова вставляю для укрепления духа.

Дети после таких слов начинали есть лук. Семён Петрович любил и сам покушать в садике, жил один, готовить не хотелось. Так до старости и доработал Петрович здесь. Потом ещё маленько пожил в общаговской комнатухе и понял по болезням своим, что недолго ему осталось коптить небушко наше русское.

Много лет не пил Семён, смыслом его жизни были дети, но теперь, глядя на баян, разговаривал с ним, пригубив водочки:

– Эх, баянушка! Знаешь ли ты, что твоим именем лошадей называют?! А лошади даже лучше людей, это я тебе точно говорю. Когда я был мальчонкой, у нас в деревне конь был, Баяном звали, ух, умный был. Я чего с тобой разговор-то завёл, не подумай, что свихнулся, нет. Вот помру, соседи по общаге похоронят, а тебе какая судьба выпадет?..

Петрович взял баян и начал играть мелодию, песню эту когда-то пел его учитель Александр Васильевич. Хороший человек ту песню сочинил, и больно крепко легла она на душу Семёну Башмакову. Он уже путал слова, но пел:

В алые рассветы, в бездорожье лета  
Мята луговая манит и зовёт.  
Там трава густая, и ромашек стаи,

Там зарю, как речку, переходят в брод.  
Отпусти меня, город, в зелёные дали.  
По росистым лугам в тишине побродить.  
Вместо вин дорогих из бокалов хрустальных  
Я хочу из колодца свежей влаги испить.  
Сбросить бы тревогу да скорей в дорогу,  
От духов французских, пыли городской.  
Для души и тела нету лучше средства,  
Чем пропахший мятой голубой покой.  
Только всё не еду в бездорожье к лету.  
Не туда дороги в городе спешат.  
Потому ночами вместе со свечами  
Догорает сердце, и болит душа.

Погладив баян старенькими морщинистыми руками и глядя на икону Божией Матери, Семён продолжил свою речь:

– Подскажи, Боженька? Жалко мне до смерти, ежели без дела баян пропадёт.

Прошло какое-то время, и не сказать, чтобы быстро, но пришло в голову старика озарение. «Отнесу-ка баян в музыкальную школу, может, примут, не откажут. Денег мне за него не надо, вот бы взяли только, чтоб я с надеждой помирал».

Стал ходить Петрович в музыкальную школу да приглядываться к музыкантам, кому бы подарить баян. Работники школы поначалу глядели на старика с недоумением, а он твердил им непонятным для них языком:

– Не пугайтесь, я не преступник какой. Я тоже детишек пению обучал. Я маненько погляжу, послушаю, спасу нет, как охота мне на всё это поглядеть. Вы не тревожьтесь, я никому не помешаю.

После таких слов старый человек смотрел на преподавателей испуганно и думал, как бы не прогнали. Но кто-то из учителей признал его:

– Это же учитель пения, в садике работал.

Деревня для старика была святым понятием. Но родная деревня померла, уничтоженная, по его разумению, городом.

Поехал когда-то молодой Семён с матерью в город. Не забыть вовек ему, сердешному, как прощались они со старенькой своей избой. Перекрестились, молитвы прочли, поклонились и враз заплакали.

Мама устроилась на завод, жили у подруги матери, а Семён, игравший с измальства на гармошке, пошёл учиться в музыкальную школу. Преподавал у них Александр Васильевич. Все ученики его каким-то образом ведали, что закончил их преподаватель Гнесинку и, когда в автомобильной катастрофе погибла у него жена с дочкой, переехал он с сыном в город Братск. Сын учителя был непутёвым, и все учителя жалели.

Полюбил Семён Александра Васильевича потому, наверное, что тот тоже был выходцем из деревни. Бывало, в начале урока скороговорку проговаривали: «Кум Гаврила, кум Гаврила, я Гавриле говорила, веники, веники, веники повеники, на печи сушились, с печки обвалились», все после смеялись. Но не только на баяне обучал играть ребятишек Васильевич: и на пианино, и даже на балалайке. А ещё рассказывал детям о старинных музыкальных инструментах, и всем особо понравилась жалейка.

Бывало, сядет учитель, возьмёт балалаечку, заиграет, а затем запоёт: «Отпусти меня, город, в зелёные дали. По росистым лугам в тишине побродить. Вместо вин дорогих, из бокалов хрустальных Я хочу из колодца свежей влаги испить». Или: «Деревня и люди живите в

ладу. И тёплого хлеба подайте к столу. И русская печка едой угостит. А песня нас всех от невзгод защитит».

Братск только начинал строиться, но строительство шло стремительно и было сродни людскому подвигу. Именно в те далёкие годы у Семёна зарождалась истинная любовь к самородному русскому слову, к песне.

Александр Васильевич Корсанов сам придумал и спел песню про Братск.

Народу было в клубе полным-полно. Семён стоял за кулисами и волновался за учителя, а тот со сцены, тоже сильно волнуясь, играя на аккордеоне, пел:

Я родился в Сибири,  
В деревеньке глухой,  
В той единственной в мире,  
Где любовь и покой.  
К этой Родине милой  
Я любовь сохранил.  
И простые уроки  
До сих пор не забыл.  
Я родился в Сибири,  
Где сплошные снега,  
Где морозные шири,  
где река Ангара.  
Беспокойное сердце  
Позвало нас туда,  
Где росли новостройки,  
Где росли города.  
Мы в холодных бараках  
И палатках зимой...  
Мы строительство Братска  
Не забудем с тобой.

Вскоре после музыкальной школы забрали Семёна в армию, а через год приехал он на похороны матери. После армии завод и комната в общежитии. Как же непривычна ему, деревенскому, была общага! После первой получки почти все её обитатели прибежали занять денег, и он всё раздал, даже не оставив себе.

Перебивался крупами месяц, ему это не было трудно, маманя научила вкусно готовить каши. Но даже на его каши находились желающие разделить с ним трапезу. И дядя Юра, одинокий старик, пропивший пенсию за три дня, и тётя Галя, у которой было пятеро детей. Та, совсем не стесняясь, просто накладывала из кастрюльки Семёна себе каши и говорила:

– Сёмка! Простой ты! Добрый! Трудно тебе будет. Вот те крест, трудно.

И тётя Галя обычно в такие минуты вспоминала один случай. Рядышком с общежитием жил бездомный пёс Шарик. Вся общага, знамо дело, кормила его. Начали отстреливать собак, и Шарика подстрелили. Люди видели, как раненая собака убежала от убийц. Все шибко огорчились, что Шарика подстрелили, особенно дети. Глядя на детишек, Семён, на что-то решившись, куда-то ушёл. Не было его три дня, даже на работу не ходил. И ведь отыскал он Шарика, принёс на руках. Стали всем общежитием лечить, а ребячьей радости не было предела. На заводе хотели уволить Семёна за прогулы, но, когда все жители общаги вместе с детьми пришли взять заступ за своего товарища, начальство простило его.

И тётя Галя, уплетая кашу, обычно говорила:

– Нет, ты, Семён, особенный какой-то человек. Сколько радости детишкам нашим сделал, отыскав Шарика. Простофиля, конечно, но чё же с тобой сделаешь.

Отыскал же Семён Шарика на второй день в заброшенной времянке, обратил внимание, что одна собака шмыгнула под времянку с какой-то едой. Поначалу подумал, шенятам еду-то несёт. Но всё же рискнул, ползком подлез, благо заваленки были давно кем-то раскурочены, посветил фонариком и увидел раненого Шарика и ту собаку, которая принесла еды своему другу.

Увидев такое, прослезился:

– Да. Едрён корень! Не кажинный человек так делает. Собачья дружба, стало быть.

Хотел сразу на второй же день и принести собаку, но Шарик не давался, рычал.

– Шарик, ты Шарик! Меня с работы точно выгонят. Пойми ты меня. Ну, давай, родной, иди ко мне.

Лишь к концу третьего дня Шарик сам выполз к Семёну. Осторожно, словно невестушку, нёс Семён раненую собаку через весь посёлок. Испортив одежду от крови пса. Когда он подошел к общаге, детишки, высыпав гурьбой, стали поочередно гладить собаку, а сколько было восторженных криков!

Но не только дети были рады, взрослые тоже запомнили этот день. Тётя Глаша прибежала, работала она медсестрой, и профессионально поставила Шарика укол.

Была у Семёна когда-то любимая девушка Марина, и свадьба скромная была, а через девять месяцев родилась дочка Елизаветушка. Жена поначалу слушала мужа, не хотелось ей дочку Елизаветой называть, но Семён настоял, чтобы дочка носила имя его мамы. Вскоре жить в общаге молодой жене надоело да, видно, и сам Семён надоел. Отбив у кого-то мужика, уехала Марина с ним в другой город. Оставшись один, стал крепко Семён выпивать, шибко жалко было дочку, и много раз думал, что пропадёт он от такой жизни. Но однажды, услышав по радио концерт Людмилы Зыкиной, встрепенулся. Что-то дрогнуло в душе: «Брошу завод, много ли мне одному надо? В детский садик пойду, если возьмут, начну обучать детишек пению. Надобно, чтобы знали они наши песни, вон вокруг сколько чужих песен появилось»... Вспомнился сразу и Александр Васильевич, который рассказывал, как их тогда, ещё совсем молодых музыкантов, поила чаем из самовара сама Людмила Зыкина, приговаривая, чтобы ели побольше пирогов, ибо молодым надобно усиленное питание.

Теперь Петрович приходил в музыкальную школу, не опасаясь, что прогонят. Чем-то приглянулась ему молоденькая баянистка Настя. Понравилось ему шибко, как по-доброму она детей пению учит. После занятий подошёл он к Насте и сказал:

– Настенька! Я в детском саду детишек пению обучал, теперь вот помирать собрался, не откажи деду, прими мой баян в подарок. У меня радость, стало быть, последняя, чтобы жил баянушко.

Старик с огромной надеждой поглядел на молодую девушку. В этот момент, если бы кто-то посторонний посмотрел на старика, то наверняка бы подумал, что дедушка сейчас упадёт и помрёт.

Настя широко улыбнулась:

– Семён Петрович! Вы меня не помните, наверно, меня мама в садик водила, где вы преподавали, я помню ваш большой чёрный баян.

И вдруг девушка тихо, но душевно запела: «За окном воробушки закружились весело, потому что мамочке мы запели песенку».

– Я после школы училась в музыкальном училище, думаю, ваш баян повлиял на мой выбор профессии. Я по сей день вспоминаю, как мы сидели на стульчиках и слушали наши добрые песни.

У старика полились слёзы из глаз. И сколько он ни стирал их платочком, они всё лились и лились, платочек вмиг стал мокрым, хоть выжимай его. Настя принялась успокаивать своего старого учителя, а он вдруг вымолвил:

– Ух ты. Вот как ты ухватила это дело. Понимаешь, в баяне русский дух есть, это сразу видно. Слава те, Господи! Видно, не зря жил я. Понимаешь ли, девонька, какую радость ты мне дала.

Настя приняла подарок деда.

Старик шёл домой теперь с надеждой, что судьба баяна будет продолжена. Почему-то в эти минуты ему вспомнился деревенский конь Баян, как любил он кататься на нём у реки.

Один раз дед повеселил и Настю, и весь её класс, предложив быстро проговорить слова: «Веники, веники, веники повеники, на печи сушились, с печки обвалились», дети долго смеялись, а старый учитель говорил им, что эти скороговорки надобны для развития пения, что так их учил Александр Васильевич. В другой раз, быстро сняв шапку с головы, ударил её об пол и спел: «Снова шапку заломлю, я не плачу, я люблю», с чувством спел, а после сказал детям:

– Без души не пойте, не получится!.

В один из дней в музыкальную школу пришли соседи по общежитию и сообщили, что дедушка умер, звали на похороны. Соседям дед всю жизнь помогал то продуктами, то деньгами, и они это ценили.

Дальше были скромные похороны, и на местном поселковом погосте появилась ещё одна могилка. Настя на родительский день ходила на могилку деда, прибиралась, но вели догляд и соседи по общежитию, не был забыт человек, слава богу.

Баян долго стоял в углу кабинета, где преподавала Настя. Вскоре она вышла замуж, родились двое детей, и, как только детки подросли и пошли в детский садик, сразу Настя стала работать. Денег катастрофически не хватало, и молодая баянистка кроме музыкальной школы устроилась ещё на две подработки. В поселковом клубе был хор ветеранов труда, там Насте обрадовались, потому как прежний музыкант шибко пил и матерился.

Вот тогда-то и решила Настя, отложив в сторону свой баян, взять на репетицию старенький баян Семёна Петровича.

Дело было зимою, и, когда началась репетиция, женщины хора дружно стали говорить, что баян плохо играет. Настя же на их вопросы отвечала просто:

– Баян замёрз. Давайте попойте пока без музыки.

Прошло полчаса. Настя заиграла на большом баяне Семёна Петровича, и участники хора остались довольны. На другую подработку ей приходилось ехать далеко, потому как разбит на посёлки город Братск. Но и там люди поначалу задавали тот же вопрос: почему баян плохо играет? Настя привычно отвечала:

– Баян замёрз. Подождите.

Баян, словно понимая, быстро отогревался в тепле, и снова звучала его чудная мелодия.

Был такой случай. В Тулуне, тогда ещё не подтопленном памятным всем наводнением, состоялся областной смотр художественной самодеятельности. Выступили, стараясь, хорошики, и баян в Настиних руках старался быть на высоте. Но строгая комиссия отругала прилюдно коллектив «Русское поле». Не за пение, а за старые концертные платья. Женщины, почти все ветераны труда, шибко расстроились. Катерина, дородная сибирячка говорила:

– Да разве это наша вина, что платья-то у нас старые?

На обратном пути в Братск женщины-первостроители от обиды даже пригубили горькой. Нет, не то их обидело, что спели, может быть, плохо, а то, что прилюдно стыдили. Но справедливость всё же есть на белом свете. Пройдёт время, и эту же Катерину с её подругой Ниной за прекрасное исполнение песни «Алёша» будет обнимать и целовать народная артистка Кузьмина, говоря им, что они – золотые песенные ручейки нашей России. Да и платья вскоре пошили для коллектива новые, но всё это через огромные переживания. Ведь высо-

кая комиссия за небольшое опоздание даже хотела отстранить Катерину с Ниной от конкурса. Катерина участвовала в строительстве почти всех дорог города Братска, по её словам, такой работы мужики не выдерживали! Покидала лопатой на своём веку, и от этой надсады сильно болели ноги. Медленно шла на автобусную остановку, оттого и опоздали они на конкурс. Выручила народная артистка Кузьмина, случайно вышедшая в фойе и увидевшая понравившихся ей исполнительниц – два дня тому назад они пели на отборочном конкурсе. Обняла расстроенных женщин, вернула на сцену, и они заняли первое место.

А старенький большой баян в Настиных руках честно нёс свою службу.

Вернувшись после концерта, который проходил в центральном Братске, Настя устало обняла своих чадушек. Подумала, как всё же раскинут наш город Братск, почти пятьдесят километров надо ехать до родного посёлка Гидростроителя. Затем по-быстрому сварила пельмени и, когда семья наелась, тихо сказала:

– Вот всегда вы ждёте, пока вернусь домой, а мне – думу думай! Ведь не трудно же сварить вареники или пельмени, яички сварить.

Дети обняли мать, и вот уже Настя рада, что муж и дети сыты. Уложив ребятишек спать, Настя подошла к окну и увидела небо с яркими, словно в сказке, звёздами. Только это была не сказка, это была всамделишная жизнь. Вдруг на небе среди ярких звёзд она увидела улыбающееся лицо Семёна Петровича, и он говорил Насте:

– Слава богу! Жив Баянушко, жив...

## Чучунечка Быль

Жила да росла себе девочка на божем свете. А чего не расти, раз родители есть, корова молочка парного даёт, курочки рябенькие яички несут.

Тятя Александр Иванович назвал девочку Анной, а вот прозвал Чучунечкой. Показалось ему али привиделось, то ли на самом деле было. Только самые первые слова были у девочки не «А», а «ЧУ-ЧУ». Жена Дарья давай спорить с мужем:

– Да как же могла она, сердешная, это твоё «чу-чу»-то вымолвить, экие словеса? Обычно акают, окают.

Отвечал муж жене любезной:

– Дарьюшка! Вот те крест, чу-чу сказала.

При этом осенил себя летучим крестом.

– Эх ты! Да рази такое можно, врѣшь, да ещё крестишься, кружаешь всё.

Александр не унимался:

– Я поначалу тоже подумал, уж не слухом ли я ослаб, подошёл поближе к доченьке-то, а она сызнава «чу-чу» бает. Я всё думал к чему это, а потом, когда дрова колод, подумал вот о чём. Ведь правда, «чу-чу» – это вроде первые слова её, стало быть, быть ей Анной, а я буду звать, пока махонькая, Чучунечкой, то бишь Анечкой конешным делом, но для меня, для радости душевной Чучунечкой. Поеду куда, по сено ли, по дрова, рыбу удить, а всё о доченьке думать буду и, знамо дело, о тебе, Дарьюшка. Радость человеку нужна. А ежели нет радости, то, думаю, надобно выдумать её. Вот хоть что со мною делай, выдумать, и всё. А тут, вишь, мы с тобой любим друг дружку, дочка на божий свет появилась. Чудно всё на белом свете деется, ей-богу, чудно.

Дарья, глядя на мужа, улыбнулась:

– Вот завсегда ты наговоришь, только слушай.

Муж снова:

– А может, это «чу-чу» – чучеку означает. Значит, чують она будет нутром, шибко.

Дарья снова улыбнулась:

– Пошли щи хлебать да спать ложиться, завтра ни свет ни заря подниматься.

Так и закончился спор мужа и жены, а дочка Анечка по тятиному прозвищу Чучунечка росла потихоньку. Да и доросла до десяти годов. Эх, и рыбы было в те далёкие годы в сибирской реке Ангаре, не высказать, не вышептать. Стоит, колышется на холодной сибирской воде шитик, привязанный к берегу. Тащит в гору до телеги тятя Александр цельный куль рыбы, а рыба-то какая – таймень! Со лба пот течёт ручьём, а рядышком Чучунечка его любезная идёт, туесок в руках несёт, заглянула туда, а там и хлеба-то отец почти не отведал, и сало на месте, лишь молоко выпил. И дочка бает тятю родненькому:

– Что же ты, тятенька, не ел нисколечко, матушка тебя ругать будет.

Погрузив куль с рыбой в телегу и, переведя дух, отвечал отец доченьке:

– Да как же? Ел, молоко хлебал. А там, вишь, рыбкой увлёкся, неколи было. Теперь на радостях рыбки поедим. Да у кого мужиков нет, надобно разнести рыбку-то. Это уж твоя забота, Чучунечка.

И несёт Чучунечка рыбку в те дома, где мужиков нет. Рады-радешеньки люди от этакого действия. Рыба тяжёлая, и Чучунечке приходилось раз за разом домой бегать, снова брать да разносить. А когда тятя с охоты возвращался, то было Чучунечке полегче, не надо ничего разносить. Кто победнее жил и без мужиков, сами приходили за куском мяса к доброму её тятю. Александр в такие часы баял так:

– Богат наш лес зверем, всем хватит мяса и рыбы. Видишь, Чучунечка моя родная, у кого в войну мужики погибли, у кого в армии служат, кто от жизненной надсады погиб, есть старики, у которых никого нет, так жизнь сложилась, надобно помочь таким, Бог велел.

И вправду, жили на краю деревни старик со старухой. Люди на деревне баяли про них так: де, с каторги бежали, вот и прибились к нашей деревне. А чего не прибиться, Сибирь-матушка всех привечает. Словом, жили старые люди на краю деревни, а Анна всегда, как только тятя с рыбалки возвращался, рыбу им носила.

Старика звали Андреем, жену его Татьяной. Не так давно приходил издалека в деревню священник, седенький весь, полюбился всей деревне, детей покрестил, всех остальных исповедовал и причастил, и обвенчал на старости лет стариков батюшка.

И вот сидит на широченной лавочке в избёнке Чучунечка, глядит на стариков. Бабушка Татьяна уже и ушицы напарила в печи, дед Андрей курит табак, поглядывает на дорогую гостью с утайкой, радуется в душе, что скоро рыбки отведаст, ух, жена его любезная вкусно готовит.

Аннушка спрашивает у стариков:

– А правда люди баяли, что с каторги вы молодыми ишшо сбегли?

Хоть и задала вопрос Чучунечка, а саму стыд обуял, может, не надо было спрашивать, страшно. Дед Андрей, внимательно оглядев гостью, сказал:

– Низкий тебе поклон за рыбку-то.

Девочка встрепелась.

– Да за что же, тятя мой рыбу поймал.

Дед Андрей, улыбнувшись, продолжал говорить тихо:

– Мы не с каторги убегли. Мы от родителей Татьяны убегли. Богатые они были, я – бедный. Хорошо, что в вашей деревне люди шибко не расспрашивали, выделили одинокую избу, вот и стали мы жить с Богом. Спасли они нас. Мы ослушниками оказались. Любовь земная, девонька.

Андрей замолчал, Татьяна, глянув на мужа, с едва заметным укором заговорила:

– Вот он такой Андрей у меня, может говорить, а может и замолчать. Что я тебе скажу, Аннушка, детка сердешная. Тятя мой только пять дойных коров имел, а другого скота и не сосчитать вовек. А с Андреем у нас любовь случилась. А он кто? Бедняк! Вот отец мой Дормидонт Евграфович и задумал выдать меня за богатого, только тот старый был, нелюб мне вовсе. Вся подушка у меня в слезах была, днём на солнышке высушу, а ночью опять мокрая. Душу саднило крепко. А Андрей смелый был, напирал на отца. А тот и говорит ему, чтобы полугодовалого бычка через всю деревню на горбу пронёс, тогда, де, отдаст меня ему. Андрей-то крепким был, пронёс он бычка того, на диво дивное всей деревне. А тятя отказался от своих слов, де, он не всерьёз сказал, да добавил, что Андрей – дурак. Вот тогда-то мы с Андреем и убегли из деревни. Ночью костры разжигать боялись, думали, что отец со всей деревней ищет нас. Да так оно и было. Вот лежу я в лесу в Андреевом тулупе, мне тепло, а он рядышком сидит, стережёт меня. Мы два месяца или боле шли, и не видела я, чтобы спал мой Андрей, во как берёт меня! А костёр мы днём жгли, ушицу варили. Андрей-то мой Егорыч, пока молод, знатный был рыболов. Но то лето было, а уже ночью холодно стало, Сибирь, она и есть Сибирь. Пошли со страхом немалым в вашу деревню. Приняли люди. Так до старости и дожили. Три сыночка у нас было, разнесло их по белу свету, даже не ведаю, живы ли.

Татьяна поглядела на девочку: «Ой, мала девка, а мы ей, словно на исповеди, всё обскажали, но теперь-то уж чего...»

Чучунечка вернулась домой и сказала только, что дед Андрей с бабушкой Таней не из тюрьмы убегли. Больше ничего не поведала, повалилась на лавку широченную да заснула. Улыбнулись родители, и отец, глядя на уснувшую от усталости дочку, вымолвил:

– Чадушко растёт наше милое. Вишь, мать, личико-то какое, милей его нет для нас с тобою. И главное дело, неболтлива девка, сказала коротко и ясно, вот где диво.

Шли годы, у Анны на божий свет появились два брата и две сестры, и отец её давно не называл Чучунечкой, было ей уже шестнадцать годов. Лишь изредка под хмельком шептал матери на ухо:

– Ну девка, сердце-то какое у неё – золото. Чучунечка наша. И шептал ещё тише: – Тихо, тихо, а то ить услышит, чего доброго, разобидится.

Жена в ответ, не таясь:

– Любит она тебя, окаянного, до смерти.

Анна так и ходила все эти годы, принося свежую ангарскую рыбу, а когда и мясо старикам. Дед Андрей с Татьяной, знамо дело, прикипели душой, за дочку почитали. Когда занемог дед Андрей, а бабушка Татьяна стала в домашних делах совсем никудышной, Анна стала варить еду в их дому сама. До одного момента всё не решалась, а тут Татьяна из печи доставала чугунок с супом, руки затряслись, и упал чугунок на пол, разлился суп по доскам. Охает бабушка Татьяна. Дед поддерживает как умеет:

– Ничего, Татьяна! Таракашкам тоже исть надобно.

Глядит Татьяна, как с пола духмяный пар вверх поднимается, лежат на половых досках картошка, капуста, да мясной мосол, который им не так давно Анна принесла. Делать нечего, взяла тряпку да принялась замывать пол. Дед мосол поднял, дунул на него и давай его глотать потихоньку, мяско там всё же было, да и зубы у деда были ещё не все растеряны по жизни.

Вот с тех пор Анна и стала готовить, обстирывать стариков. Всё печальнее глядела на деда Андрея, чуяла, что недолг век ему, сердешному, остался. Бывало, сядет он поутру на кровать и долго сидит. Только спросит, глядя на работающую у печи Анну:

– Аннушка! Ты уж пришла? Когда и спишь-то? Старуха моя тоже никудышная стала, а вот, гляди, подле тебя всё крутится, слава те, Господи! Ты ей тоже дай какую работу простую, она рада будет.

Поедят старики, и Анне хорошо. Да такая сила в ней появляется, что удержу нет. И хоть в родительском дому работы завсегда невпроворот, тятя с маманей рады-радешеньки были, что дочка старикам помогает. Верили, что это Боженька им благодать такую посылает.

Уйдёт Анна домой, а стариков скука окаянная одолевает. Сидит дед Андрей на кровати, думу памятку думает. Нёс он того полугодовалого бычка через всю деревню, в ногах дрожь, а несёт, как же не нести-то, будет смеяться Дормидонт Евграфович. Нет, помру, а донесу. Вот уж и деревни конец, освободил спинушку трёхжильную от бычка, дух перевёл. А Евграфович на всю деревню смеётся, громко, чтобы все слышали, бает:

– Вот дурак. Поверил. Татьяну я знаю, за кого выдам. Не твоево ума энто дело. А за потеху плачу честно. Бросил к ногам взмокшего и запыхавшегося Андрея монеты. Ни одной не поднял Андрей, хоть и нуждался в деньгах. Отвернулся и тихо побрёл к своему старенькому домишке. Маманя его, стоявшая рядом, подобрала эти монеты. После, когда Андрей узнал об этом, ни одного слова упрёка маме, Аграфене Никандровне, не сказал. У них с Татьяной было уже всё уговорено. Хоть на первых порах у мамани монетки эти окаянные пусть будут.

Старик сидел на кровати, и после обеда ему не стало легче, как бывало ране:

– Видно, скоро отмотыжусь. Чего тут сделаешь, ладно, хоть старыми обвенчались с тобой, Татьяна. Священник понял нашу жизнь, они, батюшки-то, шибко умные, знают жизнь и несут крест свой потяжелыше нашего. Сколько людей им душу изливают, а им надобно правильные слова найти.

Жена, услышав слова мужа, встревоженно заговорила:

– Ага! Собрался он! А я? Нет, муж, потерпи маненько, вместе уляжемся. Ты, главное, не торопись.

Умерли старики и вправду один за другим. Враз повалились голубь с голубкой. Гробы и кресты делал отец Анны, Александр Иванович. И теперь каждую неделю Анна ходила на могилки стариков. Крошила рядышком с крестами пироги, молилась. А когда отходила от

могилок, видела, как вороны тут же слетались на пир. Со временем реже стала появляться на погосте, ибо много работы в крестьянской жизни. Одолевала мошкара, коровы из-за этого молока меньше давали. Бывало, в жару загонит под навес коровушек Анна, жалко их, сердешных, жрёт их окаянная мошкара, отгоняет Анна от коров чем придётся мошкару и тут же деда Андрея вспоминает. Делал дед Андрей дёготь на совесть, им и коров мазали, и себя, так спасались. А ещё дёготь этот болячки на коже лечил. Дед Андрей и чумашики из бересты делал, в них Анна ягодку хранила зимой. После деда Андрея тятя Александр Иванович принялся за дёготь, только у него не так получалось. И часто он при этом поминал добрым словом старика, ведь тот и шкуры выдελывал, да такие, что ни один волос с них не падал, и черки знатные шил, унты, фитили хитрые плёл, веретёжками всю деревню одаривал. И всему этому обучил Александра Ивановича. Зимой по вечерам Анна красно пряла, шила, вязала, вышивала, и работа эта спасала от ненужной тоски. Годы снова шли, да что шли, бежали так, что порой страшно становилось Анне. Вышла замуж. Муж Василий шибко любил Аннушку свою любезную. Благодарил Бога за такую добрую жену, шесть детей нарожала, все, слава богу, мать любили.

Годы снова бегли, за шестьдесят лет уж Анне было. Взались люди плотины по Сибири возводить. Затопило их родную деревню с погостами. «Эх, тятя с маманей, дед Андрей с бабушкой Татьяной, все земляки родненькие, лежите вы теперича во холодной воде ангарской». Все оставшиеся, отпущенные Богом годы саднило Анне это душу.

Жизнь есть жизнь. Перебрались в молодой город Братск. Как дальше жила Анна, неведомо, но до самой смертушки, наверно, помнила, как любимый тятя называл её, сердешную, Чучунечкой. А колесо жизни человеческой, оно что? Крутит.

Живут на белом свете дети, внуки и правнуки Анны. Верится, что такие люди, как Анна, в раю и молятся с небес за нас. А нам, живущим, надобно молиться и хоть изредка ходить в храм.

Ты только крутись, колесо жизни...

## Чубарый

«Брат ты мой Васька бедовый! Мне уж тридцатник был, а он родился, и уж точно никто не ждал. У меня девка да парнишонка растут, и вот те на – брат родной! Сколь ни водил к знакомому логопеду, а он всё своё – «катошка». Мама говорит: картошку любит, а букву «р» совсем не выговаривает, ничего, мал ещё, научится, а нет, так ничего, люди и так живут, разве ж это главное, потешно только маленько». Такowymi были думы Игната Сидорова. Вспомнилось вдруг как мальчишкой всё приставал к отцу:

– Пап! Меня Сидором в школе дразнят, смеются, говорят: Иванов, Петров, Сидоров самые распространённые фамилии.

А отец отвечал, бывало, с сердинкой в голосе:

– Эх, сынок! Да рази угодишь на всех? Пусть дразнят, перестанут, время придёт. Твой дед в Великую Отечественную два ордена и медаль «За отвагу» навоевал. От тяжёлых ран даже крепкая самогонка не помогала, а он, бывало, всё равно работал, хоть и пенсию по инвалидности получал. Бывало, ругается от боли этой окаянной трёхэтажным матом, курит папиросы одну за другой, да так крепко затягивался, словно боль от этого отступала. Я даже однажды жалостливо спросил:

– Тять! А чё, когда крепче затягивашь, легче становится, да? Ответил, помню, осерчавши:

– Да отстань ты, помогай лучше вон лошадь запрягать. Тут уж только гробова доска поможет, ядрёна корень. Но, главное, ежели маленько расшевелится, то, говорит, меньше думает о боли. На коне в лес, надсадится уж, не ведаю как – с помощью верёвок хитровал, а целую телегу нагрузит дров, даже лесник не ругал его, уважал, стало быть, – у самого два сына погибли. Приедет, сгрузим всем миром, и снова мается от ран, дерябнет стакашик самогонки, квашеной капусточкой захрустнёт и на тальянке чего заиграет, а потом всю ноченьку стонет... Нечего, сынок, стыдиться фамилии! И ты вырастешь, будешь работать не хуже других. Все фамилии сгодятся в нашей России. И махорку любили, и спирт глушили, матерились, а ведь именно наш народ сломил хребтину фашистам. А что махорка, самогонка, может, они и даны человеку для того, чтобы душа не лопнула от надсады. Что пережил наш народ, словами не вышептать...

Отцу, Ивану Панкратовичу, было пятьдесят шесть лет, маме, Татьяне Ивановне, пятьдесят два. И родители уже давно смирились, что только один сын у них и будет. То, что появились немочи, Татьяну Ивановну не смущало, они и должны быть. Но, когда стал заметно расти живот, только тогда пошла она к врачу.

Шибко рад был отец рождению сына Василька! К тому времени выпивающий редко Иван в день рождения Васятки огоревал цельную бутылку первача. Силы совсем сдавали, мужики не любят жаловаться, но на работу ходил уже с трудом, давление, спина – словом, весь набор окаянных хворей. Шибко ждал пенсию, ничего, живут люди и на пенсию. А сынок родился на божий свет, так ничего, картошка, капуста растут каждый год, вырастим. На работе Татьяне Ивановне говорили, что надо рожать, пока молодая, что могут быть проблемы, и вот так и вышло. Заболел пятилетний Вася такой болезнью, что старший брат Игнат и выговорить не мог название. На операцию требовались два миллиона рублей. Работал Игнат сварщиком на нефтепроводе, извечные вахты, но зарабатывал неплохо, отец продал свою любимую «Ниву», Игнат взял кредит. Врачи ошиблись в расчётах – не хватало восемьдесят тысяч.

Жили Сидоровы в своём доме и из поколения в поколение держали лошадей. На семейном совете решили продавать любимого коня по кличке Чубарый. Конь был породистым. Когда родился жеребёнок, то был он весь пятнышками, и картошка в это время была почему-то в пятнышках, вот Татьяна Ивановна и решила: быть жеребёнку с именем Чубарый. Все посмеялись, никто не возражал.

Продать можно было только цыганам, именно они могли дать цену.

Игнат вёл разговор с цыганским бароном, тот глядел на Чубарого и о чём-то думал. А Игнат меж тем говорил:

– Конь, сам видишь, породистый, мы из поколения в поколение эту породу держали. Братишке надо на операцию. Я приценивался: такой конь больше ста тысяч стоит, я прошу восемьдесят, только сразу.

Барон долго торговался, но Игнат стоял на своём и, когда, взяв под уздцы коня, повернулся, чтобы уйти, барон велел принести деньги кому-то из цыган. Операцию Васе сделали и, по словам врачей, слава богу, хорошо.

Призадумалась семья: придет Васенька из больницы, а его любимого Чубарого нет. Вспомнят отец с матерью и их старший сын, как Васятка с конём играл, как весело кричал на него: «Чубалый, Чубалый», так сердце заходится от тоски у всех разом.

Делать нечего, Игнат занял денег у друзей, снова пошёл к барону. Тот и слышать ничего не хотел. Игнат, отчаявшись и потеряв страх, уже не думал, что говорил:

– Вот был такой фильм «Табор уходит в небо», Зобар воровал коней, но душою добрым был, и он бы точно продал мне моего же коня. Да ещё с выигрышем, ведь я даю тебе сто тысяч.

Цыганский барон отвечал:

– Откуда знаешь, что Зобар отдал бы тебе коня? Он бы может другому покупателю дороже продал.

Игнат, уже не надеясь, что выкупит коня, грустно говорил:

– Раньше цыгане воровали коней, теперь, ни для кого не секрет, многие торгуют «дурью». Я к тем, кто коней воровал, лучше отношусь. А Зобар бы продал мне коня, узнав про Ваську, он добрым был.

Игнат было пошёл, но вдруг повернулся и добавил к сказанному:

– Знаешь, барон, а Будулай, узнав про Ваську, думаю, без денег отдал бы коня. Цыгане – народ сложный, но Будулая и Зобара наш народ полюбил навечно, ты не думай, что я жалобиться пришёл. Просто Василька жалко, а так бы я ни в жисть.

Так и ушёл Игнат ни с чем. А на следующий день цыгане привели Чубарого, взяли сто двадцать тысяч с Игната. Тридцатипятилетний мужик взлетел на коня и помчал по полю. На душе была радость, которую, сколько бы ни жило человечество на земле, ни за что не объяснишь словами. Видел Игнат в своём воображении, как обрадуется Васятка, когда увидит здорового, красивого коня. «А кредит выплачу, сейчас не 90-е, зарабатываю хорошо, это родители наши хлебнули... А про деда если вспомнить, так он до последнего на тальянке играл, хоть и болел шибко».

Чубарый мчал, словно угорелый, было видно, что рад свободе.

Заметив, что конь вспотел, Игнат попридержал Чубарого, поехал тихо. Когда вернулись домой, конь с жадностью осушил два ведра воды. А ночью Игнату приснился сон, что брат его Васятка гуляет по васильковому полу, ножонки его босоногие, а одет в беленькую рубашонку, и всё весело кричит: «Чубалый! Чубалый!» В этот момент во сне Игнат улыбался. Жена Ирина не спала и всё смотрела на улыбающегося во сне мужа.

«Утром спрошу, чему радовался во сне. А он, поди, и не вспомнит. Пусть радуется. Счастливая я с ним... А логопед так пока и не научил Васеньку выговаривать букву «р». Это ничего, будет Васятка кричать: «Чубалый», а мы все и посмеёмся». И, глубоко вздохнув, она продолжила свою мысль: «Ведь надобно человеку и посмеяться...»

## Номерки

Уплетая рассольник за обе щёки, местная пьянчужка Света говорила своему неожиданному постояльцу:

– Да откуда ты на мою голову свалился? Я ж забыла, когда и ела так, всю неделю кашами на сухом молоке, супами, котлетами балуешь меня, дуру. Когда зимою ноги подморозила, то в больнице кормили хорошо, думала, лучше не бывает, а ты вот готовишь, так готовишь! Постоялец, взглянув на Свету, едва улыбнулся, только улыбку эту вряд ли разглядел бы хоть один человек на всей земле, тихо и тепло сказал:

– Ты луковицу-то кусай, кусай, без лука плохо. Витус Беринг – был такой исследователь Севера, и в наших местах, кстати, был и лодки здесь строил. И лук у них закончился, там долгая история, матросы стали помирать от цинги, лук спасает человека от болезней, ешь. Денег-то у таких, как мы, нет на лечение.

Помолчав несколько секунд и открыв рот от удивления, Светлана снова торопливо заговорила:

– Ты это откуда такой умный выискался? Наверно, книжки в детстве читал, я тоже читала, не думай, что полная дура, а вот про лук не слыхала, а про Витуса Беринга что-то вроде... Нет, не помню.

Светлана надкусила луковицу, сморщила лицо и быстро зачерпнула две ложки супа и, о чём-то подумав, заговорила:

– Ну, я не сразу спилась, была путной, варила картоху с мясом. А почему у тебя в сто раз вкуснее моего, ну-ка, скажи?

Постоялец был мужик с полностью седой головой, по виду ему – под шестьдесят лет. Поглядев теперь уже с заметной улыбкой на Светлану, тихо ответил:

– Я сначала мясо на сковороде обжариваю, а уж потом в картошку добавляю, варю. Меня так друг научил: он по северам, экспедициям мотался, разного люду повидал. Рассказывал, что, когда строили БАМ, подходили к грузинам, которые отдельно друг от друга готовили, спрашивали, почему не вместе? Те отвечали, что у них одни не едят то, что едят другие. Питерские ребята были самыми весёлыми. Там, на Севере, волей-неволей многому обучишься, жизнь заставит. Один мужик, говорит, обиделся на кого-то и из ружья в палатку стрельнул. Убил человека, а потом головой крутил, жалел. По тараканам, говорит, из тозовок лупили в общаге. Разный народ у нас в России. Я вот о друге подумал, потому что без работы я ныне, а он говорил, что надо питаться мясом, иначе ослабнешь. Я, понимаешь, Света, это сейчас стал ощущать: не каждый раз мясо-то варишь, хоть и куры нынче сравнительно дешёвые. Но да ладно, живой в могилу не ляжешь, как будет, так и будет, чего зря языком бормотать.

Доев рассольник, Светлана улыбнулась:

– Говоришь, жалел тот, который человека застрелил. Щас не жалеют. Ладно. Спасибо, конечно. Только сбежишь ведь от меня, я тебе даже не любовница. А я после по твоей кухне буду горевать. От такой жизни сдохну скоро. Я через твою еду вспомнила, что я тоже человек. Ладно, щас заплачу. Пойду. Щас настойку боярышника за двадцать рублей продают, а хлеб сорок стоит. Чудеса. Пойду. Приглашали.

Селиверст Петрович Евграфов жил от рождения с мамой в сибирском городишке. В шестнадцать лет пошёл в ГПТУ, и вот уж – работа сварщика. Интересна была ему эта профессия. Металл расплавляется докрасна-бела, и это действие ты делаешь, и вот уж изделие надёжно сварено. Профессия сварщика престижная, это ощущал на себе даже молодой Селиверст. Подойдёт, бывало, старенький слесарь, просит, чтобы буржуйку ему на дачу сварил. И вот уж вскоре буржуйка готова, а на душе от такого действия у молодого сварщика хорошо.

Мама на завод приходила посмотреть, как работает её сын. Пока была производственная практика, училище выплачивало обеденные тридцать рублей, и половину зарплаты забирало училище, другую же часть отдавали родителям. Мама гордилась сыном, а Селиверст к тому времени уже отведал вино «Агдам» за два рубля пятьдесят копеек, хорошее было вино.

Армия. Снова работа сварщика. Жена, дети – всё было. Взял он любимую Валу с ребёнком. Мальчик маленький совсем, однажды задохнуться стал, вызвали «скорую», не приезжала долго, Селиверст схватил мальчонку на руки и бегом. Так три километра до станции скорой помощи и бежал. После врачи сказали, что, если бы ещё маленько, не успел бы. А «скорая», которую вызывали, так и не приехала.

После родилась их совместная дочка. Только дети выросли и разъехались. По характеру слишком спокойным был Селиверст. Валя, глядя, как крутятся другие мужики, часто попрекала этим мужа, завидовала их женам. Словом, скоро сама нашла другого и тоже уехала из городка. После размена совместного жилья жил он в однокомнатной квартире. Собирался на пенсию, но срок выхода на пенсию увеличили, надо было ждать ещё три года, и то, потому как жил в регионе, приравненном к северным. Да не тужил бы Селиверст Петрович, только зрение стало совсем плохим, а инвалидность не давали.

В один из дней, когда он сторожил, слили с машины ГАЗ–66 два полных бака бензина. Приехали из полиции, думали-гадали, что делать со сторожем. Один полицейский вдруг говорит:

– Какой-то интересный вор: замки на баках целые, проушины не тронуты. Нет, тут что-то не то.

С работы Селиверста уволили, высчитывать деньги с него не стали. Сидя в своей однушке, думал Петрович: «Вот как три года до пенсии протянуть? Даже в сторожа не гожусь. Ладно, в этот раз обошлось, а ведь два бака бензина денег стоят немалых, а для меня это какие-то невиданные деньжищи. Врачи-то, слышал, премии получают за экономию, чтобы таким, как я, пенсию не давать. Завсегда правду доказать трудно, да подчас и невозможно. Ведь их, врачей, тоже матери рожали. Круговая порука, едрёна корень, все жрать послаще хотят. А ежели такие, как я, подышают, кому дело? Видал я по телевизору: как-то фармацевт знаменитый выступала, что, де, такие, как я, отработанный материал, пустьдохнут, не надо им пенсии платить. Думаю так: ежели бы судьба её, родимую, в такое, как меня, окунула, то думала бы эта дама по-другому. Правда, передали, что наказали её за высказывание это, но, думаю, вряд ли она что-то осознала: натуру-то завсегда трудно перештопать. Эх, как бы так сделать, чтобы думали, как надобно народу. Нет, николи такого не будет. А если случится чудо и появится человек на высоком месте, который станет делать для людей по совести, ей-богу, сожрут, уничтожат, обязательно уничтожат, а после рады будут. Михаил Евдокимов – пример. Не верю я, что сам разбился, да и никто не верит. Аман Тулеев для народа неизмеримо много сделал, да пожар окаянный подвёл. Рази он виноват? Сняли с должности, кто-то рад был, а большинство из простого народу горевали. Хлеб при Амানে Тулееве в Кемеровской области стоил четырнадцать рублей в 2012 году, нигде даже близко больше в России так не стоил. Помню, говорил он по радио: «Урожай зерна мы собрали большой, низкий поклон хлеборобам! Подлатали старенькие комбайны, и вот мы с хлебом, а если узнаю, что кто-то продаёт хлеб хоть на копейку дороже, плохо тому будет». Был я тогда в Кемеровской области, сам видел и ел хлеб по четырнадцать рублей, а у нас, кстати, он тогда стоил тридцать».

Нет в жизни справедливости, нет совсем, ну ежели только в сказке. А всё одно молодцы, кто сказки добрые пишет. Да, потом человек будет видеть правду жизни, горевать, куда деваться. А всё одно: хошь на какие-то крохотные моменты, читая эти сказки, в добро уверует. Нет, не все сволочи, даже на высоких должностях, но хороших там ничтожно мало. Вот было бы так: ежели какой человек много добра людям сделал, того и надобно выбирать на высокий пост. Но и тут не всё так просто, были ведь разные случаи в нашей истории. Степан Разин –

ушкуйник, а народ стронул, отнимал у богатых, отдавал бедным, потому как сытый голодного во все века не понимает. Жаль, великий наш соотечественник Василий Макарович Шукшин так и не успел снять фильм о Степане Разине, а ведь и сценарий был написан. Да вот сердце праведного человека не выдержало.

А я бы первый жизнь отдал за правдивого человека, ежели он за народ, а так власть голодного не понимает. Ладно, ладно, разбег взял мыслям своим. Разные, конечно, люди. Добро есть, это я понимаю, видел немало человеческого добра в жизни, а обзлѐнным людям, которых, как меня, лишили пенсии, разве докажешь чего? Нет, даже пытаться нечего. Но ведь тут в самом себе, сколь годов проживи, не разберѐшься, да и не было в нашей истории шибко хорошо никогда, разве что в брежневские времена...»

Пока работал, откладывал Селиверст деньги, чуял нутром: никто не поможет. Скопил на 2020 год пятьдесят тысяч рублей. Только крупы себе покупал, ибо знал: никто не поможет. Детям по ипотеке платить надобно, слава богу, не забывают, даже звонят иногда. Жаль, помочь им не мог Селиверст, но всё одно, ежели совсем неведомо стало, помог бы, куда деваться. Да разве пятьдесят тысяч спасут? А ежели долги, тоды чем платить? Окаянная система. Кто-то ведь думает, как людей дурачить. Слова песни Михаила Евдокимова запомнились шибко: «Расскажи, как всех нас, мама, вновь царь-батюшка дурачит». Но ведь и царю может тяжелее всех на белом свете. Предателей завсегда на Руси много, а где честных найти?

Пробовал Селиверст собирать пустые бутылки, надевал на глаза очки с толстенными линзами и шѐл, таился как умел, но бомжи отловили и побили так, что месяц лежал на кровати, мочился кровью и думал, что уж не подыметься. И всё удивлялся про себя, как это он до своего дома-то дополз. Слышал однажды Селиверст такое высказывание, что когда человеку совсем плохо, то Господь несѐт его на руках. «Может, и меня нѐс, прости господи, не ведаю», – думал он.

Стоял Петрович на бирже труда, но последнее время платили тысяча девятьсот рублей, и то, говорят, потому, что стаж около сорока лет и регион относится к северным регионам, но это был последний месяц. Когда Селиверст спросил на бирже, как, мол, за квартиру платить, как жить, работники промолчали. И это хорошо, потому что, ежели бы они сказали, что это его проблемы, было бы хуже на нутре у Петровича. А так – выпил чекушку и лёг спать. А мысли, они что? Они бурлили: я бы мог помочь людям-то, я потолочные швы могу сваривать и цепи, которые тяжести таскают, тоже сваривал. Так надобно уметь: швы рентгеном проверяли. Эх, жаль, сварочного вредного стажу по трудовой книжке всего пять лет, хотя по совести-то семнадцать годов сварщиком и газорезчиком был, да после пяти лет в слесаря перевѐлся, дурак, хоть сварщиком так и остался.

На другой день пришѐл он с такими мыслями в местное ГПТУ, де, я могу молодѐжь учить. Отправили восвояси, мол, своих преподавателей хватает. А Селиверст Петрович возьми да громко скажи:

– Ну-ка, преподаватели, давай посоревнуемся, кто лучше заварит. Меня такие мужики обучали, коих уж нет в живых. Все в пятьдесят да в пятьдесят пять на пенсию ушли. Я одним своим глазом на минус четырнадцать вас всех уделаю. Учителя мои на погосте почти все ныне лежат. Не знали они, какая нашему поколению судьбина выпадет. Эх, вот она бы пожалели взаправду меня, дурака. Потому как послевоенная жизнь насада была для родителей и детей, их эта жизнь была, понятие имели к человеколюбию. А потом, всплакнув и вспомнив про зрение, извинился, сказав, простите, мол, люди добрые. Преподаватели хотели поначалу, чтобы охранник выгнал Евграфова, но после того как Петрович повинился, оставили эту затею. А одна пожилая женщина, провожая глазами Селиверста, с грустью смотрела ему вслед и глубоко вздыхала.

Бывало, ходил Петрович по рынку, магазинам, глядел на людей, а люди покупали сосиски, сыр и прочие вкусности. Думы Селиверста были таковыми: «Я на эти сосиски права

не имею, хоть я с шестнадцати лет работал до пятидесяти трёх, ей-богу, немало работы перелопатил. Бывало, держак накалялся так, что терпелу не было, руки обжигал, пачку электродов сожжёшь не одну за смену, полны лёгкие всей таблицы Менделеева. Даже молоко давали за вредность, вкусно было молочко, колхозное, настоящее».

После мысли о молоке улыбнулся Петрович, ух, многих пронесло после молочка-то того, как бы сказала его бабушка в деревне о таких, «брюхо слабое», а Селиверсту по нраву было молоко, с детства пил его в деревне досыта. Когда приезжали с мамой к бабушке, казалось, ничего вкуснее на белом свете нет. Кошек не проведёшь, а те ух с каким аппетитом лакали из чеплыжек у бабушки молочко-то. Время дойки коровы знали чётко. Бывало, когда приходила пора уезжать из деревни, шли они с мамой в другую деревню, где ходил автобус, а бабушка стояла на краю деревни и, сняв с себя платок, махала им вслед, обнажив свою крепко седую голову. Мама шла и тихо плакала. И было во всём этом что-то Божественное, это Селиверст чувал всю свою жизнь.

Была бы у него пенсия по вредному стажу, да товарищ переманил в слесаря. Потом вернулся, так же работал сварщиком, а проходил по документам слесарем, не один он такой был. Кто знал, что время другое настанет? Сытые дяди и тётки, приятного вам аппетита! Не виноваты они, а почему-то зло брало Петровича, когда на сытую рожу глядел. Тех денег, что откладывал, хватило от силы на полгода за квартиру платить. Летом китайской сетёшкой рыбку добывал, чтобы дольше продержаться, радовался, что уловиста она. Зимой ловил окуньков: всяко лучше, чем одни крупы жрать.

Тоска давила так, что однажды, когда сидел на лавочке, из глаз покатались слёзы, и ко всему этому в придачу Петрович стал подвывать. На ногах были старые ботинки, подошва была в дырках, ноги сильно озябли, по всему телу шёл озноб. Вот в таком состоянии и встретила его Света.

Почему Петрович пошёл к ней пожить? Это он объяснить не мог. Видно было: выпивает она, неопрятна. Да красть у него было нечего, в кармане три тысячи всего, выкрадет – так выкрадет. С первого дня жительства у Светланы Евграфов нажарил котлет из рыбного фарша, который сам сделал из пойманной им сорожки, напарил перловки, сварил компот из ирги, которую насобирал на заброшенной даче друга. Был рад в душе, что потрудился на даче друга, вырастил там немного огурцов и засалил пять трёхлитровых банок.

Ещё по осени походил по гаражному кооперативу и собирал там выброшенную прошлогоднюю картоху, хранил в своём гараже. Часть картошки съел, часть оставил на семена, и теперь был доволен собою: картошка выросла неплохая, накопил пять мешков. Сильно болела спина после копки, но Петрович был до безумия рад и тихо говорил: «Ура! С картошкой-то повеселее будет. Эх, друг Васька! Уехал ты давно, жив ли, не ведаю, а дача твоя меня, вишь, спасат».

Дачи были давно заброшены, но рядом протекал ручей, там и брал воду для поливки Евграфов и, глядя на сибирский ручей, говорил: «Спасибо, ручеек, без полива что вырастет, а надобно выживать, понятие есть такое в жизни, брат».

Вспомнив о лете и даче, пригласил хозяйку отобедать. Света была когда-то красивой, но кого до добра доведёт сивушный боярышник?

Побыв неделю у Светланы, Селиверст ушёл к себе. Прожил недели две, за это время забил морозилку окуньками, посолил, засушил. Спасибо, река Ангара выручила. Но всё равно рыба осталась, понёс Свете. А та заявила:

– Мне некогда рыбой заниматься, её чистить надо. Там подружки картошки нажарили, боярышника купили, пойду.

Когда Света вернулась, Петровича не было. Так, пьяной, прямо в одежде, и улеглась спать, но, когда проснулась, увидела на сковородке жареных окуней. И жадно их съела, подумав, что Петрович больше не придёт.

И его действительно не было больше месяца. У подруг закончился даже дешёвый боярышник. Недели две Светлана не ела ничего, только пила воду из-под крана. Приходили из ЖЭКа, грозилась отключить воду и отопление. Но пока не отключили, и Светлана, напившись холодной воды, поставила чайник на плиту, чтобы попить кипятка. Почему-то вспомнила школу, там им рассказывал учитель, что во время войны люди пили кипятка, если заварки не было.

Была осень, и Евграфов пришёл в этот раз к Светлане с грибами. Нажарил целую сковороду с луком. Света ела и плакала, говоря Селиверсту, что он её спаситель. Петрович достал из рюкзака килограмм гречки, пачку чая и килограмм сахара.

– Вот, Света, продал несколько вёдер грибов на рынке, с моим зрением искать их шибко тяжело, но вот гляди, получается. Деньги я тебе не дам, а вот что принёс, то и принёс, не обижайся.

За полгода, как он и предполагал, деньги закончились, ибо платил за квартиру исправно. Но за последний месяц не стал платить, узнал у людей, что можно жить спокойно месяца три, а если повезёт, и больше, говорили ещё, что многие годами так живут. Законопослушного, но бедного Петровича это пугало: как это – за квартиру не платить? Вспомнил жившего напротив Кольку: тот, от безысходности и голода, разжёл прямо в квартире костёр, хотел картошку сварить в кастрюле. Отопление у него отключили, свет тоже. Потом из квартиры выгнали, а квартиру его сестра продала. Кольке же выделили времянку, а местные бомжи его и оттуда выселили. Пришёл Коля в родной двор, люди кормили его, а он жил в колодце, там и умер от простуды. А ведь был Николай здоровый, работающий парень, только получил тяжёлую травму в лесу у частника. Привезли его на бортовой машине и выкинули, словно бревно.

Помянув Колю, которого тоже подкармливал Селиверст, и, вспомнив, что за квартиру совсем нечем платить, Евграфов расстроился до того, что заболел. Враз обессилел.

По телевизору твердили про коронавирус, и в их городишке, слышал Петрович, стали умирать люди от этой окаянной заразы, даже один пожилой врач-терапевт умер, заразившись от больного. Знал его Селиверст долго, на приёмы к нему ходил. Весёлый был старик, любил поговорить о жизни, и специалист хороший. Вечная память! Не зря на свете жил, многим помог.

Евграфов боялся выходить на улицу, лишь за хлебом ходил раз в неделю, сразу брал по две булки. Тонко нарезая куски, невольно вспомнил про художественный фильм по произведению великого Шолохова, как пленный русский солдат, выпив на потеху немецким офицерам несколько стаканов шнапсу без закуски, принёс в барак булку хлеба таким же пленным, как и он, и как делили её пленные. Страшная это память...

А потом совсем закончились деньги. Ел крупы, варил по одной тарелке на день, но и они закончились. В холодильнике было забито два отсека замороженной ангарской рыбой, была картошка, солёные огурцы, солёные и замороженные грибы, но есть уже не хотелось. Совсем отказали ноги, и Селиверст Петрович лежал на кровати и думал: «Хорошо, догадался ведро с водою поставить рядом с кроватью да другое пустое ведро». Петрович время от времени молился, но по-своему: «Господи! Я ведаю, мир лежит во зле, много у кого жизнь под полнейший откос пошла, ох, девяностые, девяностые. Ныне 2021 год, много кто сытый в России, но не все. Понимаешь, Господи, не все. Прости меня, Господи! Но думаю, в нынешнее-то время, когда страна первая в мире по выращиванию хлеба, можно всех людей накормить. По телевизору передавали за хлеб-то, хвастались. Господи! Помру. Жена Валюша приедет, нет ли, не знаю, детям, не знаю, кто сообщит, соседи все уж давно другие. Стары-то соседи, ух, какие люди были хороши, прям, словно боевые друзья. Бывало, прибежит бабка Лида да с порогу: «Дай, Валюха, шей пошвыркать!» Ох, бедовая бабка, добрая душа. С пенсии обязательно с чекушкой в гости идёт, селёдину купит и опять с порога: «Валюха! Давай картоху вари, селёдку пробовать будем. Да ахнем водочки в честь пенсии». Померли старые соседи, а новых-то я и

не знаю. А теперь, когда помру, под номерком меня, наверно, похоронят, как в той песне: «И никто не узнает, где могила моя». Мудрая песня-то, жизненная».

Селиверст ухмыльнулся, но так, что ни один, даже самый известный, режиссёр на свете не заметил бы эту ухмылку: «Нет, не зря раньше у нас в северном регионе пенсию в 55 лет давали мужикам. Умные и мудрые были люди, понимали, каково здесь жить».

Вспомнил почему-то, как однажды, когда жил в бараке с мамой, пошёл в туалет, и в этом деревянном туалете, где было несколько отверстий, он увидел в большой выгребной яме матерчатый мешок, а в нём что-то шевелилось. Побежал он тогда в барак, позвал взрослых. Многие подумали: неужели дитя непутёвая мамаша выкинула? Когда шевелящийся мешок достали, то там оказались котята. Люди вздохнули: ну, слава богу, не ребёнок брошенный. Зимой в сорокаградусные морозы, которые стояли в те времена по три или четыре месяца, хоть и не хотелось, но приходилось ходить в этот холодный туалет на улице, но котят больше не выбрасывали, и это радовало Селиверста.

Вдруг помянулось Евграфову, как приехал к ним с мамой в их холодный барак его дед с его отцом Владимиром – дед пытался помирить маму и отца. Вечером дед с внуком пошли в этот холодный туалет. Подбежал к ним диковатый парнишка Мишка и изо всей силы ударил Селиверста по руке, боль была страшной. Дед, отругав Мишку, посоветовал ошарашенному внуку помочиться на больную руку, и Петровичу, покуда жив, не забыть, как после того ему стало легче. Мудрый и умный был дед, говорили, что в деревне, в Бурятии, ещё его дед лечил людей травами, не за деньги, а так – от души.

За неделю, как слечь в постель, увидел Петрович на остановке молодую девушку, она курила. Понимая, что может и послать его куда подальше, всё одно подошёл и сказал: «Извини, конечно, девушка, но ведь тебе, может, рожать придётся, не курила бы, вредно это очень». Девушка что-то невнятно ответила, было понятно, что ей всё равно, что говорит ей Селиверст. Ох, молодёжь! А как вам пенсии дожидаться? Подумать страшно, а им, сердешным, жить. Помогите им, Господи!

Прошла ещё неделя, Петровичу были видения, будто его Валя всю жизнь с ним прожила, и дети рядом. На другой раз Петрович видел новое видение, будто он умер и его милая и любимая Валя ходит на его могилку, а кто-то, может, и какой-то поэт, шептал ему:

Часто старики всем говорят:  
– Как же жизнь-то быстро пролетела.  
Берёзы над могилами шумят,  
Похоронивши дедушку, бабулька овдовела.  
Теперь тяжельше крест ей жизненный нести.  
А разговоры с дедом – это ведь отрада.  
– Ох, дорогой! За что, не ведаю, прости.  
Для нас двоих теперь эта ограда.  
На полотне земли я этом крошечном  
Сиреньку беленькую и рябинку посажу.  
И счастье наше, Богом посланное,  
Я облакам стеречь, конечно, накажу.  
Согбенная старушка к остановке шла.  
Сиренька выросла с рябинкой на погосте.  
А прошлогоднюю траву бабулька убрала.  
Беда и радость, вы на жизненном помосте.

Соседи, почуяв нехороший запах из квартиры Петровича, вызвали кого следует.

Милиционер, недовольно затыкая платком нос и рот, говорил:

– Опять бомжара загнулся.

Другой человек в милицейской форме отвечал ему:

– Да вроде не бомж, гляди: телевизор, обстановка, хоть советская, но чисто всё. Я в холодильнике заглядывал, у него полна морозилка рыбы, огурцы, грибы, и картошка вон в мешке стоит. Надо бы сотовый телефон найти, родственников разыскать.

Но телефон у Петровича отняли бомжи, когда побили, да и паспорт Селиверст потерял, нашли только трудовую книжку, в которой было отмечено, что трудился усопший с шестнадцати лет.

Месяц Селиверст Петрович пролежал в морге. Как-то так вышло, что ни детям его, ни бывшей жене не сообщили ничего. Потом похоронили, как безродного, но на его могилке было написано его имя, отчество и фамилия. Один из закапывающих могилу работников удивлённо сказал: «Гляди, Вовка, Селиверст Евграфов, необычные имя и фамилия». Здоровенный богатырь по имени Владимир, поглядев на говорившего, тихо, с хрипотцой в голосе ответил: «Сразу видно, недавно у нас работаешь. Здесь каких только имён и фамилий нет! Даже графиня под простым деревянным крестиком лежит, я тебе после покажу».

Прошёл месяц. Приехали Валя с детьми, разыскали Селиверстову могилку, облагородили. А кругом, окрест, без фамилий и имён были номерки, номерки, номерки...

## Данилино семя

Войну страшенную пережили, но коровёшку сохранили.

Татьяна Ивановна Куванова по прозвищу Данилина понимала: без коровы-то смерть. У неё сын Сергей да три девки мал мала меньше. Младшенькая, Мария, в сорок первом родилась, а немного погодя похоронка на мужа Андрея пришла.

Татьяна Ивановна плела лапти, корзины и уходила дня на три продавать или обменивать свою нехитрую продукцию. Придя еле живой, едва переступив порог, всё же находила где-то в потаённых уголках своей души силы на улыбку: «Всё, девки, затапливайте печь, я ить крупы добыла».

Ох, и ждали они этих волшебных материнских слов, ох, и ждали. Оживала тогда их древняя изба, которую ещё прадеды ставили. Наварит маманя в печи русской каши, и прямо из чугунок эту кашу деревянными ложками и повыхлебают Данилино семя. После обовьют девки матушку свою да сказки велят сказывать. Хоть и моченьки никакой нет, одну сказоньку да расскажет Татьяна Ивановна, а после от неминуемой усталости, лишь успев осенить себя летучим крестом, крепко уснет. Во сне плакала, думала о муже Андрее: «Гоже как жили-то мы с ним».

Андрей, бывало, всем старухам одиноким, да у кого мужиков нет, косы насадит да наточит – ни про одну не забудет. Рады-радешеньки в такие моменты старухи, и опять удивление её во сне разыграется: да откуда на деревне одинокие старухи взялись? И сама себе ответит: погана Гражданска война до этой, теперешней, шибко поубавила земляков да сродников.

Нет теперича Андрея, лежит в земле сырой суженый мой. Да хорошо, сына да девок с ним родили на божий свет. Пока с лаптями да корзинами хожу, детки-то мои и избу натопят, работу, какую накажу, сполнят, а она, известное дело, надсада и есть надсада...

Теперь часто вспоминала она такой случай. В сорок четвёртом году тащили они со старшим сыном Сергеем сухую валёжину из леса, взмокли от тяжести, а тут, как на грех, лесник Степан Андриянович Тузов встал на пути: «Бросайте, не положено брать». Вот тут-то Сергей, которому на ту пору было тринадцать лет, вдруг и сказал со злостью: «Вот уж хренушки». Матери хоть под землю проваливайся от таких слов, а лесник, словно не слыша, пошёл дальше.

Лесину эту они дотащили до дома и тут же на распил пустили. Пока пилили, Татьяна Ивановна и спросила: «Ты что это, сынок, а вдруг бы заарестовал он нас, как бы девки-то выжили?» Сын на это долго молчал, а когда наконец распилили валёжину, всё же сказал: «Это он так, для виду пугнул, чтобы шибко не баловали в лесу. У него, мама, работа такая».

Подивилась она тогда отчаянности сына, а себе зарок дала, что надо бы теперь доглядывать за Сергеем-то, как бы не сотворил чего...

С той поры год прошёл. Поднялась как-то Татьяна Ивановна в четыре утра, затопила печь, надумала детям свеклы наварить: пусть едят, сладкая она. И горестно вздохнула: им бы сахарку. И ни с того ни с сего стала вдруг считать: «Старшему моему, Сергею, уже четырнадцать, прицепщиком в колхозе работает, Дуняшке десять, Насте семь, Маше пять лет – ничего, с Божией помощью проживём, война закончилась. И, поднявшись с широченной лавки, сделанной ещё мужниным дедом, стала молиться на старинные образа. Помнила (как такое забудешь): стали возвращаться с фронта мужики, побежала Татьяна Ивановна в соседнюю деревню и от сослуживца узнала, как принял смерть её Богом данный муж Андрей.

Неторопливо, захмелев от принесённого ею самогону, который она берегла таких долгих пять лет, фронтовик рассказывал:

– Ползём мы с твоим Андреем в окопе, а бомбёжка такая, будто конец света настал, спрашиваю: «Андрей, ты жив?» – «Жив», – отвечает, и второй раз я его, немного погодя, об этом спросил, а на третий-то раз он уж, сердешный, мне не ответил: похлестали осколки твоего мужа, Татьяна.

До самой деревни шла она, пошатываясь от горя, думала, как пережить такое. И позже, когда шли по деревне её сын Сергей и его сверстники, и старики, памятуя о том, что отцы их погибли в адовой войне, говорили: «Сердешники пошли», снова подступал к горлу этот ком неминуемой горести... Незаметно за делами, в известной суете, прошли два часа. Татьяна Ивановна за это время кроме свеклы наварила ещё постного супа и подняла сына. Обжигаясь, он хлебал прямо с чугушка, дул на деревянную ложку и говорил: «Мам, ничего вкуснее твоего супа нет на белом свете. Мы когда в поле работаем, я мечтаю всегда, что коли до избы доберусь, то хлеба твоего волшебного с кисленькой капусточкой вдоволь похлебаю...» Любил Сергей только чёрный хлеб, к белому у него пристрастия не было. Даже когда он, этот самый белый хлебец, изредка бывал в доме, всё одно просил у мамани чёрного. А девки-то эту съестную привычку братца родимого учуяли и долю его делили пополам. Удивление своё они мамане не раз высказывали: «Мамань, пошто Сергей хлеб белый не ест? Это ж как праздник у нас». «А у них, у Данилиных, всё племя эдако – чернушку-горбушку им подавай, бают, что в ей да хлеболе вся сила для пахаря тaitся», – отвечала Татьяна Ивановна.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.